

Г. Р А М О С

САН-БЕРНАРДО

Г. РАМОС САН-БЕРНАРДО



1 р. 20 к.



Г. РАМОС

САН-БЕРНАРДО

РОМАН

РАССКАЗЫ

**ПЕРЕВОД
С ПОРТУГАЛЬСКОГО**



**ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

1977

И (Латин)
Р 21

GRACILIANO RAMOS

ПРЕДИСЛОВИЕ
И. ТЕРТЕРЯН

ХУДОЖНИК
А. СКОЛОЗУБОВ

Рамос Г.
Р 21 Сан-Бернардо. Роман. Пер. с португ. Л. Бре-
верн и И. Чежеговой. Рассказы. Пер. с португ.
Предисл. И. Тертерян. Художник А. Сколозу-
бов. Л., «Худож. лит.», 1977.

216 с.

В сборник произведений выдающегося бразильского писа-
теля Грацилиано Рамоса (1892—1953) вошли социально-пси-
хологический роман «Сан-Бернардо» и рассказы.

Р $\frac{70304-074}{028(01)-77}$ 187-77

И (Латин)

Р $\frac{70304-074}{028(01)-77}$ 187-77

© Издательство
«Художественная литература», 1977 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот роман надо читать медленно. Вовсе не потому, что он написан сложно и что читателю придется преодолевать трудности понимания. Как раз наоборот: прозрачная ясность рассказа может заставить глаз читателя пробежать по строчкам и страницам, схватывая лишь движение фабулы. И тогда утратится главное — тончайшая, филигранная разработка простых и ясных фабульных ситуаций. Ибо в истории, рассказанной в романе, нет ничего необычного, поражающего воображение. Можно даже сказать, что эта история банальна и не раз уже возникала в мировой литературе. Семейная драма, в которой тяжелая, оскорбительная ревность мужа доводит до гибели чистую и хрупкую жену...

И все же «...каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» (так начал Лев Толстой «Анну Каренину»). Вот это «по-своему», вот это объяснение, почему оказался несчастливым брак Пауло Онорио, почему окончился он трагической развязкой, в романе «Сан-Бернардо» так емко, так насыщено деталями, иногда и не выговоренными в слове, а утадываемыми, улавливаемыми при внимательном чтении, что смысл его перерастает банальную житейскую историю. Не просто одна бразильская семья, а целый мир, общество, человек, сформированный этим обществом, «несчастливы по-своему».

Но прежде чем прочитать внимательно роман, представим себе, с каким запасом жизненных наблюдений подошел писатель к этому труду.

Есть в Латинской Америке такие места, такие районы, где, как будто для наглядности, сведены воедино все острые

противоречия, порождающие драматизм исторической судьбы этого континента. Один из таких районов — бесспорно, северо-восток Бразилии. Край удивительного плодородия — и страшных стихийных бедствий. Земля здесь в изобилии дает хлопок, сахарный тростник, какао — и та же земля каждые пять-шесть лет высыхает от губительной засухи, заставляя все живое умирать в муках голода и жажды. Это край обширных богатейших латифундий — и неслыханной, нечеловеческой нищеты батраков и крестьян-арендаторов. Край помещичьего произвола, кулачного права, беззакония — и удивительных самобытных форм коллективной жизни, ярчайшей народной культуры. Здесь и сегодня фольклористы изучают праздничные обряды, песни, танцы, записывают сказки и поверья. Здесь скрыты и боль, и сила Латинской Америки. Боль отсталости, чудовищной эксплуатации, первобытной жестокости и угнетателей, и угнетенных. Сила духовного сопротивления народа, готовности выносить бедствия, неистребимой жизнерадостности, доброты, побеждающей жестокость.

Грасилиано Рамос (1892—1953) родился и вырос в одном из северо-восточных штатов, Алагоасе. Большая, многодетная семья (писатель был старшим из пятнадцати детей) узнала все тяготы жизни в этом богом забытом краю. Их разоряла засуха, и они кочевали по выжженным голодным степям, прежде чем осели в маленьком городке Палмейра-дос-Индиос, где отец открыл лавку, а старший сын стал помогать в торговле. Правда, мечтал сын совсем не о торговле и в 1914 году отпросился у родителей в столицу попытать удачи в журналистике. Но уже через несколько месяцев черные вести вернули его на родину: там разразилась эпидемия бубонной чумы (это в двадцатом веке!), и поредевшая семья нуждалась в первенце. Грасилиано пришлось надолго осесть в Палмейра-дос-Индиос, взять в свои руки торговое дело, жениться, войти в провинциальное общество. Он слыл почтенным горожанином, и его даже избирали местным префектом...

На самом деле он жил двойной жизнью. Он писал. Писал втайне, очень медленно, и только в 1933 году решился предложить свои книги столичному издательству. Первый роман, «Каате», заинтересовал публику и вызвал снисходительно-одобрительные отклики в прессе: замысел показался свежим и остроумным (герой романа, провинциальный журналист, собирает материал для книги об индейцах племени каате, но, наблюдая нравы и взаимоотношения жителей своего городка, приходит к выводу, что каннибалами следует скорее считать добропорядочных мещан, а не простодушных дикарей), но

исполнение — еще далеким от совершенства. Через год вышел в свет второй роман Рамоса — и теперь успех был полным. Этот второй роман назывался «Сан-Бернардо».

На этот раз писатель избрал форму повествования от первого лица — владелец фазенды Сан-Бернардо рассказывает о своей жизни сам. Немногословная, отрывистая речь, властная, уверенная, чуть насмешливая, «хозяйская» интонация как будто лепит облик рассказчика. И нарисованный им несколько позже автопортрет оживает перед нашими глазами благодаря речи — мы ощущаем главное: грубую, не знающую удержу силу, которой веет от его обветренного, медного лица, от его массивной фигуры, от рук, привыкших к плетке и револьверу.

О своем прошлом, о том, что предшествовало захвату (иначе приобретение поместья тут и не назовешь — не покупка же это!) Сан-Бернардо, Пауло Онорио рассказывает очень кратко. И не потому, что он стыдится своего происхождения или перипетий жизненного пути. Напротив, в том, как охотно он всем и каждому сообщает, что когда-то горбатился батраком на этой самой фазенде, а читать научился по тюремной Библии, сказывается очень важная, может быть, определяющая черта его характера, о которой нам еще придется говорить. А на эпизодах «ученичества» — когда обстоятельства и среда, все эти доктора-ростовщики и политики-грабители, выковывали из него хищника — он не задерживается, потому что не видит в них ничего экстраординарного. А как же! В этих местах иначе не проживешь!

И вот, уже в самом начале рассказа, Пауло Онорио выходит в бой за мечту своей юности — фазенду Сан-Бернардо. Хищник «без страха и упрека» готов пустить в ход револьвер, дубинку, плетку, колючие ветки, но умеет и считать, и обсчитывать, и торговать, и торговаться, и выжидать, и мгновенно вцепляться в глотку жертве...

Однако дело не так просто. Недаром навязчиво повторяется одна деталь в рассказе о Сан-Бернардо: при старом владельце двор и все уголья прямо-таки заросли бурьяном. Пауло Онорио хочет завладеть Сан-Бернардо, потому что он уверен, что заставит заброшенную землю плодоносить. И он действительно может это сделать и сделает, когда всеми неправдами — вплоть до убийства из-за угла — станет хозяином Сан-Бернардо. Грабительский захват освещен зарей созидания.

Превращение плодородной, но не освоенной человеком, дикой, первобытно-буйной земли в щедрую ниву, в цветущий сад... Таков исторический смысл колонизации — неотъемлемой

части той эпохи великого переворота, когда, по словам К. Маркса и Ф. Энгельса, буржуазия «впервые показала, чего может достигнуть человеческая деятельность»¹. В колонизации необъятных просторов Америки тоже сплетались труд и насилие; самоотверженная, героическая борьба человека с природой, с «бурьяном» сопровождалась кровавой войной за землю между людьми. Все это в миниатюре повторяется при завоевании Сан-Бернардо. Большая история отражается в капле — в маленькой (если взглянуть в мировом масштабе) истории одного бразильского хозяина земли. В восхождении Пауло Онорио к богатству есть и каторжный труд, и грубое насилие, и обман. Присвоение и созидание, творчество и собственничество — таковы два аспекта деятельности Пауло Онорио, две стороны его натуры, и это же две стороны той общественной формации, что утвердилась на колонизованной американской земле.

При феодально-патриархальных порядках, пишут Маркс и Энгельс, «грубое проявление силы... находило себе естественное дополнение в лени и неподвижности»². В Южной Америке, в силу вековой колониальной, а потом полуколониальной зависимости, отсталости, слабо развитых общественных связей, буржуазное общество долго еще сохраняло (а отчасти и теперь сохраняет) черты феодальной организации. Так и Пауло Онорио: побеждая лень и неподвижность соперников, понимая, что для успеха нужно знать агрономию, машины, бухгалтерское дело и т. п., вовсе не отказывается от «грубых проявлений силы» ни в отношениях с соседями, ни уж тем более с батраками. Он и плантатор на старый лад, раздающий зуботычины неграм и метисам, он и современный капиталист, зорко следящий за мировой конъюнктурой. Это он и называет «быстрее шевелиться».

Обратим внимание на эпизод знакомства Пауло Онорио с сеу Рибейро и на рассказ старика о его невзгодах. Несколько неожиданно в этом рассказе звучит наивно-наивная сказочная интонация. Речь идет о временах, кажущихся уже такими далекими (как говорят по-русски, «при царе Горохе») и оттого безмятежно счастливыми. Однако в целом феодальный порядок не был идиллическим — достаточно вспомнить о рабовладении, сохранявшемся в Бразилии до 1888 года, то есть как раз в годы молодости и процветания сеу Рибейро.

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 4, с. 427.

² Там же, с. 427.

В рассказе Пауло Онорио голос сеу Рибейро — чужой голос. Полусказочный монолог, вторгающийся в повествование как раз в тот момент, когда Пауло Онорио выиграл битву за Сан-Бернардо, подводит черту под прошлым. Идиллические времена лени и неподвижности окончились навсегда, наступила эпоха, когда пужно «быстрее шевелиться». Эпоха таких, как Пауло Онорио.

Пауло Онорио при всей своей грубости и неотесанности — человек мыслящий и, можно даже сказать, философствующий. Его образ жизни от богатства мало меняется. Обладание Сан-Бернардо — это служение. В поместье со столькими-то гектарами земли, приносящем столько-то центнеров хлопка и клещевины, для Пауло Онорио — средоточие жизненных возможностей, высшая ценность. Обладать этим поместьем значит ощущать себя на самом верху ценностной шкалы. Онорио открыто, упоенно гордится своим плебейским прошлым, гордится тем, что он, бывший батрак, поводырь слепого и арестант, выбился в хозяева Сан-Бернардо, потому что совмещение этих двух точек его жизненного пути представляется ему восхождением из самой глубокой низины на самый пик могущества и достоинства. Ибо достоинство для него измеряется одним — сопоставлением с Сан-Бернардо. Тот, кто может обладать Сан-Бернардо, растить и холить его, — тот сверхчеловек, тому все дозволено. Безжалостная расправа с Падильей, «последышем» плантаторской семьи, оправдывается тем, что фазенда в его руках запустевала, что Сан-Бернардо должен был перейти в достойные руки. Устранение Мендонсы также необходимо для Сан-Бернардо — без этого фазенда не будет расти. Все этические критерии путаются, смещаются в сознании Пауло Онорио (он и сам это понимает, когда рассуждает о добре и зле): нет доброго и злого, справедливого и несправедливого — есть только то, что хорошо, выгодно для Сан-Бернардо, и то, что вредит Сан-Бернардо.

Что же такое на самом деле Сан-Бернардо — не реальное поместье, конечно, а тот бог, тот фетиш, которому служит Пауло Онорио? Это не что иное, как чувство собственности, принцип собственности, но не абстрактный, а глубоко проникший в ум и душу конкретного человека, подчинивший себе многие побуждения, многие стороны сильной, незаурядной натуры. Завладев внутренним миром человека, чувство собственности становится явлением общественным, оно диктует отношения Пауло с другими людьми, определяет его социальное поведение. Бывший батрак, он не только не испытывает ни малейшей близости к прежним товарищам по классу, но требует

от них рабского, безропотного служения Сан-Бернардо (то есть себе). Отщепенец, сам нарушивший социальную иерархию, теперь он становится преданнейшим ее охранителем. Ничто не вызывает у него такой злости, такой ненависти, как намек на «идеи», как разговоры о России, революции, социализме.

Если бы Сан-Бернардо завладел душой Пауло Онорио безраздельно, без остатка, то никакой трагедии не случилось бы. Не было бы даже почвы для трагического разлада: Сан-Бернардо рос бы, втягивая в себя окрестные земли, всю округу, весь край... кто знает, что дальше.

Но исподволь, с самого начала, проскальзывают ноты, дисгармонирующие с господствующим тоном рассказа. Приютив старую Маргариду, вырастившую его, подкидыша, Пауло Онорио с привычным цинизмом говорит, что он только отдает долг, только возмещает те жалкие гроши, что старуха когда-то на него потратила. Ну, а кастрюля? Кастрюля, которая вовсе уже не нужна слепой, беспомощной старухе, — пустой, бессмысленный расход, на который тем не менее Пауло Онорио решается, чтобы старая утешилась. Кроха благодарности — а предвещает многое.

Да и женится Пауло Онорио тоже вопреки управляющему его жизнью принципу. Женитьба — как бы молниеносный фехтовальный выпад иного чувства, притаившегося где-то в дальнем углу души Пауло Онорио, и он женится на бесприданнице, слабенькой, хрупкой, но внезапно понравившейся ему Мадалене. Но вот Мадалена переезжает в поместье, жизнь идет по заведенному порядку, и Сан-Бернардо вновь единовластно царит в сознании Онорио.

Из-за чего возникают размолвки Пауло Онорио с женой? Конфликт Пауло и Мадалены — конфликт в полном смысле слова идеологический. Сталкиваются не два чувства, даже не два характера, а два мирозерцания, две системы жизненных принципов. Если бы дело было только в жадности и грубости Пауло, Мадалена, может быть, и стерпела либо попыталась бы еще и еще раз смягчить его просьбами и нежностью. Если бы дело было в расточительности и ранимости Мадалены, Пауло Онорио, может быть, и свылся бы с ее «чуждачествами». Но поступки Мадалены, ее отношение к людям — к сеу Рибейро, к Марсиано, к больному мастеру Казтано — противоречат самому принципу жизни Пауло Онорио, просто зачеркивают этот принцип. В мире, созданном Онорио, господствует целесообразность, и Сан-Бернардо — высший судья ее. А Мадалена последовательно, непримиримо отказывается признавать эту

целесообразность, отказывается признавать высшую ценность Сан-Бернардо.

Ключевой эпизод, выявляющий их несовместимость, — разговор супругов о тетке Мадалены, доне Глории. Мадалена хочет вызвать в муже уважение к старухе и рассказывает ему о тяготах и трудах донья Глории, воспитавшей ее, сироту, давшей ей образование. Страданиям Пауло готов посочувствовать (он вовсе не такой каменный, каким кажется со стороны), но уважения никакого не испытывает. Ведь трудилась и страдала донья Глория ради чего-то пустякового, не главного в жизни: «...школьных учительниц пруд пруди, а такое имение, как Сан-Бернардо, надо еще поискать». Человек и Сан-Бернардо, человек и собственность. Где же им состязаться!

Все-таки пока эта несовместимость мировоззрений проявляется только в эмоциональной и даже этической сфере, дело не доходит до трагической развязки.

И вот наступает переломный момент. В годовщину их свадьбы за столом говорили, как обычно, о политике, о падении авторитета религии (Пауло Онорио отметил про себя, что никогда не видел жену молящейся: сам-то он совершенно не интересовался религией, «но неверующая женщина — это страшно»), наконец, о революциях, волнениях, коммунизме. Все это смутно переплеталось в сознании Пауло со стычками с женой, ее жалостью к батракам, ее осуждающим взглядом. И вдруг отлилось во внутреннее убеждение: «Она коммунистка, вот она кто! Я создаю, а она разрушает». Если раньше Онорио раздражался, когда замечал, что Мадалена живет другим законом, по другой системе, что она не видит в Сан-Бернардо бога, то теперь раздражение переходит в ярость, потому что закон Мадалены оказался не просто «другим», но враждебным, угрожающим. Коммунистка, материалистка, интеллигентка, безбожница — эти не совсем ясные Онорио понятия перемешались и слились в одно: женщина, способная на все. Классовое чувство, чувство собственника, которого хотят лишить собственности, начало действовать, и сознание тут же угодливо подыскало привычное оформление этому чувству.

Так начинается бессмысленная, убийственная ревность Пауло Онорио, ревность, которая не имеет даже объекта (то ему кажется, что это Ногейра, то Падилья, то вообще «кто-то»). Просто ревность — тривиальная, понятная, доступная ему эмоциональная форма, в которой выражается ненависть ко всему, что чуждо его миру и угрожает его разрушить. Один из наиболее глубоких бразильских литературоведов, Антонио Кандидо, сказал: «Подобно бальзаковским героям, Пауло Онорио

воплощает одну страсть, и все остальное, даже ревность, лишь варианты этой страсти». Можно было бы сопоставить Пауло Онорио не только с героями Бальзака, но и с «человеком-собственником» Голсуорси. Онорио — человек, принадлежащий своей собственности. Сначала Сан-Бернардо, потом уже все остальное... Кто изменяет Сан-Бернардо, способен изменить и супружескому долгу — такова железная логика Пауло Онорио.

Мы соприкасаемся здесь с определяющей чертой Рамоса-художника. Это социальный психологизм. И в романах, и в рассказах (лучшие из них печатаются в этом же томе) писатель поглощен главной для него задачей: проследить, как социальное по своему происхождению и характеру чувство вторгается в эмоциональный мир человека и подчиняет его себе так, что уже невозможно разделить — что идет от общества, а что от темперамента, индивидуального душевного склада. Вот, например, героиня рассказа «Арест Жозе Кармо Гомеса»: как тут разобрать, что первичнее — страх за социальный покой, влияние среды и общественной пропаганды, истеричность старой девы? Критики недаром считают «Арест Жозе Кармо Гомеса» эскизом к ненаписанному роману: в несколько страничек текста здесь спрессована история семьи, история формирования страшного человеческого типа и история бразильского общества за десять, примерно, лет, насыщенных политическими событиями, переломных лет.

В это же время — с середины 20-х по середину 30-х годов — происходит действие «Сан-Бернардо» и других романов Рамоса. Это годы мощного подъема освободительного движения в Бразилии. Под влиянием известий о Великой Октябрьской революции создается Коммунистическая партия Бразилии, начинает выходить ее газета «Классе оперария», и слова «социализм, Советская Россия, Ленин» достигают отдаленных уголков громадной страны. Вспыхивает восстание демократического офицерства, закончившееся легендарным походом Колонны Престеса по четырнадцать штатам Бразилии (об этом походе, по-видимому, и идет речь в «Сан-Бернардо»). Однако реакция тоже перегруппировывается, сдвигается и готовится к отпору. В 1930 году, ловко использовав революционное настроение масс, к власти приходит Жетулио Варгас, ставленник крупных капиталистов, заинтересованных в некотором ограничении произвола латифундистов и в развитии самостоятельной бразильской индустрии. Делая вначале небольшие уступки рабочему движению, Варгас затем переходит к жестокому подавлению и террору против революционных организаций и особенно коммунистической партии. Одновременно Варгас охра-

няет свою единоличную диктатуру и от соперничающих правых группировок. В 1937 году он разгоняет фашистскую партию интегралистов, ориентирующуюся — вплоть до эмблематики, до форменных зеленых рубашек, напоминающих о коричневых рубашках штурмовиков, — на гитлеровскую Германию. (Подавление путча, устроенного интегралистами в ответ на запрещение их партии, — сюжетный центр рассказа «Арест Жозе Кармо Гомеса».)

Хотя в произведениях Рамоса на первом плане всегда одинокая человеческая фигура, личность, к внутреннему миру которой прикован взгляд автора, но исторический фон прорисован четко, с хронологическими приметами. Более того, человек и история скреплены нерушимой связью, самые тонкие, подспудные движения души находятся в скрытой зависимости от больших общественных событий. Поступок Ауроры Гомес, с одной стороны, есть проявление ущербности этой жалкой душонки, с другой стороны — результат и слагаемое атмосферы террора, воцарившейся в Бразилии после подавления Национально-освободительного альянса (широкой организации левых сил). Ревность Пауло Онорио, убивающая Мадалену, неотделима от его злобного рычания: «Тут вам не Россия!» Персонаж Рамоса — всегда общественный человек, человек конкретного общества в конкретный, точно указанный момент развития этого общества, но вместе с тем — суверенная личность, живущая напряженной, драматической внутренней жизнью.

Но вернемся к тому, что происходит в фазенде Сан-Бернардо. Пока мы говорили только о Пауло Онорио. А ведь в драме есть и второй участник — Мадалена. Повествование от первого лица заставляет нас видеть Мадалену глазами Пауло Онорио, так и не сумевшего, по собственному признанию, понять жену. Поведение Мадалены остается чуть-чуть загадочным, допускающим разные толкования. Мы можем только попытаться понять его, опираясь на детали, воссоздавая логику ее характера.

Почему Мадалена вышла замуж за Пауло Онорио? Неужели по расчету, чтобы вырваться из прозябания, из нищеты? Это как-то не вяжется с чистым обликом Мадалены. Нет, конечно, Мадалена угадала в Пауло Онорио силу и значительность, то творческое начало, которое вело его на завоевание Сан-Бернардо. Она увлеклась им и увлеклась задачей, которую себе поставила, — обратить эту богатую, незаурядную, резко выделяющуюся в толпе провинциальных мещан натуру к добру, внушить ему нравственные понятия, которых он был лишен в своей жизни одинокого волка, очистить его всепоглощающую

энергию от эгоистической направленности. Но она переоценила свои силы...

Здесь мы нащупываем разгадку и другой тайны, унесенной Мадаленой в могилу. Почему она ничего не делает, не говорит ни слова, чтобы опровергнуть грязные подозрения мужа? Да именно потому, что ревность тут только форма, только оболочка — и Мадалена отлично это понимает. Она проигрывает бой за душу Пауло Опорио, ее доброта, ее гуманизм оказались слабее Сан-Бернардо, так что уж тут доказывать свою супружескую верность! С таким Пауло Опорио, фанатически одержимым идеей служения и защиты собственности, она не хочет жить — даже если он поверит в ее невинность.

Приняв страшное решение, Мадалена принимает на себя и ответственность за свою гибель. Она осуждает себя на смерть, потому что не выдержала борьбы. Отсюда мягкость, даже нежность ее последних слов, ее предсмертного письма. Она как будто просит у мужа прощения, что покидает его, отданного во власть Сан-Бернардо, во власть демона собственности.

А может быть (это только догадка, только наше читательское предположение), Мадалена знала, что у нее есть одно, самое сильное, единственно сильное средство выиграть бой? Она знала, что Пауло Опорио любит ее и что эта любовь, если вспыхнет страданием и раскаянием, только и сможет побороть Сан-Бернардо? И она просит прощения у мужа за то, что вынуждена прибегнуть к такому жестокому средству, что заставит его болью и угрызениями совести оплатить нравственное преобразование?

Может быть, наша догадка и верна. Потому что битву свою Мадалена выиграла. Выиграла именно этим страшным ударом — самоубийством.

Из крохотного уголка души Пауло Опорио, не поглощенного Сан-Бернардо, теперь, после смерти жены, вырывается хаос, сметающий с лица земли все дело его жизни. Опорио равнодушно наблюдает за разрушением фазенды, за гибелью своего образцового хозяйства. Не из-за неблагоприятной конъюнктуры он разоряется, а просто потому, что у него опустились руки. С глубоким безразличием выслушивает он политические новости, известия о беспорядках, о забастовках и восстаниях, о революционной волне, подбирающейся к Сан-Бернардо. Да, он машинально делает то, что ему предписано, — посылает отряд батраков на помощь правительственным войскам. Но он не вспыхивает даже искрой той ненависти, какую будили в нем раньше пустопорожние рассуждения Падильи о перераспределении богатств и социальной справедливости.

Даже прямая угроза его собственности не затрагивает, не беспокоит его: «Что же до остальных приобретений... а также моего участия в политике... следует признаться: все это шло уже как-то помимо меня». Помимо меня, вне меня — вот он, убийственный для Пауло Онорио вывод, вот оно, свидетельство крушения Сан-Бернардо. Мадалена одержала победу, притом победу не только в конфликте чувств, но именно в конфликте идей, в конфликте мировоззрений. Пауло Онорио не только любит и тоскует, он осознает полный крах своей системы ценностей, и он тянется к чему-то другому, лишь открытому Мадаленой. Больше всего ему хочется «вернуть все назад и снова разговаривать с Мадаленой, как мы говорили с ней каждый день в эти часы». Говорить и говорить, постигать то недоступное, что было в ее словах, понять и принять другой мир, который стоит за Мадаленой... Пауло Онорио не суждено войти в этот другой мир. Ему остается только бесконечная усталость, холодное отчаяние и честное признание поражения.

Вспомним то, что мы говорили о расширительном, символическом значении образа Пауло Онорио, о том, что в нем персонифицировано современное буржуазное общество в его конкретном бразильском (или латиноамериканском) варианте. В символическом плане конец Пауло Онорио предвещает крах буржуазного мира, истребляющего, но бессильного истребить в человеке человечность.

Романом «Сан-Бернардо» Рамос начал социально-психологическое исследование бразильской действительности. По существу, в «Сан-Бернардо» уже присутствуют все будущие герои Рамоса — те социальные типы, которые, по его мнению, заслуживали пристального анализа. Герой следующего романа — «Госка» (1936) — двойник Падильи из «Сан-Бернардо», такой же деклассированный интеллигент, униженный угнетателями и не умеющий по-настоящему примкнуть к угнетенным.

Четвертый роман — «Иссушенные жизни» — выходит в 1938 году, и героем его становится батрак Фабиано. Книга эта создавалась в особенных условиях.

В начале 1936 года Рамос был арестован. Антикоммунистическая истерия и террор захлестнули и провинциальный городок, где он жил. К тому времени писатель получил должность в местном департаменте народного просвещения и попытался провести ряд реформ школьного образования, что вызвало раздражение властей. При обыске у Рамоса нашли несколько номеров советского журнала «Интернациональная литература». Этого оказалось достаточно, чтобы отправить писателя

в столичную тюрьму, а затем в исправительную колонию. Освободиться ему удалось только через год. Впоследствии Рамос рассказывал в «Воспоминаниях о тюрьме» (вышли посмертно) о буднях тюремных камер, о бесконечных унижениях человеческого достоинства, но главное — о верности убеждениям и солидарности, рождающейся в самых страшных условиях. В камере Рамос впервые встретился с коммунистами, оценил их мужество и стойкость. Позднее Рамос стал членом Коммунистической партии Бразилии.

Духовный опыт, обретенный писателем в заключении, сказался в его последнем романе (последнем — так как в 40—50-е годы Рамос подготовил лишь несколько томов воспоминаний, сборников рассказов и написал книгу о путешествии в СССР, совершенном незадолго до смерти). «Иссушенные жизни»¹ — вершина творчества Рамоса, итог его пути. В «Иссушенных жизнях» он показал активную, обладающую гигантским духовным потенциалом силу, которой суждено преобразовать общество.

Фабиано — это тот же Марсиано из «Сан-Бернардо», безответный, смиренный, бессловесный Марсиано, — но какое душевное богатство, какую неиссякаемую стойкость, какую готовность к сопротивлению раскрывает теперь художник, заглянувший внутрь этого кажущегося примитивным сознания. Фабиано — человек в пути (недаром роман начинается и кончается сценами бегства семьи Фабиано от засухи — через раскаленную, иссушенную, голодную степь Фабиано выводит жену и детей к воде, к жизни), человек, готовый к новым трудностям и испытаниям. История Пауло Онорио рассказана до конца, за которым только агония и смерть. А история Фабиано лишь начинается, и ей еще предстоит влиться в большую историю бразильского общества. Такова историческая перспектива, если рассматривать романы Грасилиано Рамоса как звенья единой художественной мысли.

Значение творчества Грасилиано Рамоса для бразильской и — шире — латиноамериканской литературы было оценено в полной мере лишь в наши дни. В 30-е годы латиноамериканская литература стремилась к документально точному, резко критическому изображению самых мрачных сторон социальной действительности. Внимание писателей было сосредоточено на страданиях и протесте безымянных народных масс. Человек

¹ В переводе на русский язык роман «Иссушенные жизни» издавался дважды: М., «Худож. лит.», 1961 и 1969 (серия «Народная библиотека»).

представлялся лишь клеточкой коллектива. Грасилиано Рамос был первым в бразильской и одним из первых в латиноамериканской литературе, кто направил лупу художественного анализа на внутренний мир личности, не теряя в то же время из виду социального макрокосма. Именно на этом пути, на пути сопряжения коллективного и индивидуального, латиноамериканскую литературу ждал успех в дальнейшем, в 50—60-е годы. Мастерство художественного психологизма, достигнутое Грасилиано Рамосом, составило ту близкую традицию, на которую смогли опереться писатели послевоенной эпохи: бразилец Жоао Гимараэс Роза, мексиканец Хуан Рулфо и многие другие, уже известные советскому читателю. Это имел в виду младший современник и товарищ Рамоса по общественной и литературной борьбе Жоржи Амаду, когда сказал, что Грасилиано Рамос «поднял роман на невиданную еще в Бразилии высоту».

И. Тертерян

САН-БЕРНАРДО

РОМАН



ПЕРЕВОД
Л. БРЕВЕРН и И. ЧЕЖЕГОВОЙ ¹

¹ Главы 1—18 переведены Л. Бреверн, главы 19—36 — И. Чежеговой.

Прежде чем начать эту книгу, я решил разделить труд между моими друзьями — ее будущими создателями.

Те из них, к которым я обратился, охотно согласились способствовать развитию нашей национальной литературы. Падре Силвестре взял на себя вопросы морали и латинские изречения; Жоан Ногейра — пунктуацию, орфографию и синтаксис; набор я поручил Архимедесу, а литературную сторону дела отдал во власть редактора и директора журнала «Крузейро» Лусио Гомеса де Азеведо Гондина. За мной оставался сюжет. Кроме того, я должен был дать читателю кое-какие понятия о земледелии и животноводстве, оплатить расходы и поставить свое имя.

Целую неделю я был в приподнятом настроении: советовался со своими соавторами и мысленно представлял на книжных прилавках будущие тома, тысяча которых была бы продана благодаря хвалебной рецензии, которую теперь, после смерти Косты Брито, я тиснул бы за небольшую мзду на страницах хиреющей газеты «Жорнал». Однако очень скоро мой оптимизм лопнул как мыльный пузырь: до меня дошло, что я и мои друзья друг друга не понимаем.

Жоан Ногейра мечтал о романе с длиннющими и сложно закрученными предложениями в стиле Камоэнса¹. Представляете?

¹ Камоэнс Луис (1524—1580) — знаменитый португальский писатель; стиль некоторых его произведений отличается намеренной сложностью и вычурностью.

Падре Силвестре принял меня холодно. После Октябрьской революции он стал человеком суровым и требовал наказывать, применяя строгие меры, каждого, кто не носит красных шейных платков. Его даже перекосило при моем появлении. А ведь мы были друзьями. Тоже мне, патриот! Ну что ж, у каждого свой пунктик.

Я отказался от их услуг и все надежды возложил на Лусио Гомеса де Азеведо Гондина, журналиста с покладистым характером, который пишет то, что ему приказывают.

Несколько дней мы работали. Когда наступали сумерки, Азеведо Гондин оставлял в редакции Архимс-деса, запирали ящик стола, где лежало серебро и мелкая монета, садился на велосипед и ехал по шоссе-ной дороге, которую совсем недавно Казими́ро Лопес с двумя или тремя помощниками привел в порядок. Спустя полчаса Азеведо Гондин прибывал в Сан-Бернардо. Прокомментировав газетные новости, покритиковав правительство и выпив коньяк, который приносила Мария дас Дорес, он, понимая, что его помощь мне необходима, покорно говорил:

— Ну, продолжим.

Мы шли под навес, садились в плетеные кресла и приводили в порядок начатое, покуривая и глядя на телят, пасущихся тут же на лугу, и на красную черепичную крышу лесопилки, стоящей на опушке леса.

Вначале все шло хорошо, между нами не было разногласий. Беседовали мы подолгу, но каждый слушал внимательно только себя и не слушал собеседника. Что касается меня, то, увлеченный сюжетом, я постоянно забывал о присутствии Гондина и воспринимал его не иначе, как лист бумаги, фиксирующий сумасбродные мысли, которыми полна была моя голова.

Результат оказался, прямо скажем, никуда! Спустя пятнадцать дней после нашей первой встречи редактор «Крузейро» представил мне две главы таких глупостей, напечатанных на машинке, что я даже разозлился.

— Пошел ты к черту, Гондин. Ты все извратил, все не так написал, самоуверенный болван! Да я совсем иначе говорил.

Азеведо Гондин прогнал с лица улыбку, проглотил обиду, собрал крохи своего и без того ничтожного тще-

славия и раздраженно ответил, что писатель не может писать так, как говорит.

— Не может? — спросил я с удивлением. — Почему?

Азеведо Гондин ответил, что не может потому, что не может.

— Так было всегда. Литература — это литература, сеу¹ Пауло. Люди спорят, ругаются, толкуют о всяких делах просто, естественно, но передать все это на бумаге — совсем особое дело. Если бы я писал, как говорю, меня бы никто не читал.

Я встал и облокотился на перила, чтобы получше рассмотреть лиможского быка, которого Марсиано загонял в хлев. Застрекотала цикада. У плотины я увидел старую, сгорбленную Маргариду. На часовне прокричала сова. Я вздрогнул, вспомнил о Мадалене. Набил трубку.

— Черт возьми, Гондин! Все пошло прахом. За месяц три неудачи! Выпьем.

2

Я все забросил. Но однажды, услышав крик совы и опять вспомнив о Мадалене, сел и стал писать, рассчитывая только на свои силы и не надеясь, что пачкотня моя принесет мне хоть какую-нибудь выгоду, прямую или косвенную.

В конце концов я почел за благо, что освободился от своих соавторов — падре Силвестре, Жоана Ногейры и Гондина. Кое о чем мне бы вот так, открыто не хотелось бы рассказывать никому. Но в книжке можно — ведь псевдоним меня не выдаст. А если вдруг кто-нибудь узнает, что автор я, скажут — вру, не иначе.

Продолжим. Попытаюсь рассказать мою историю. Трудно. Возможно, я пропущу важные подробности, которые мне кажутся второстепенными и лишними, или, не совсем веря в читателя, потому что привык общаться с провинциалами, стану повторяться, пересказывая события малозначительные. Впрочем, вы сами убедитесь, что в моем повествовании порядка нет. По мнению тех, кто у меня служит, любая дорога куда-нибудь да выведет, ну, к примеру, в трактир.

¹ Сеу — фамильярное обращение; сокращенная форма слова «сеньор».



Вот так, сидя в столовой, потягивая трубку и попивая кофе, я иногда прерываю свою неспешную работу, гляжу на листву апельсиновых деревьев, которые исчезают в темноте с приходом ночи, и говорю себе: как жаль, что писать так трудно. Я не привык думать. Я поднимаюсь, подхожу к окну, которое выходит в огород. Казимиро Лопес спрашивает, не нужно ли мне чего-нибудь.

— Нет.

Казимиро Лопес сидит на корточках у забора. Я возвращаюсь на место, перечитываю бессвязные фразы.

Да, есть над чем подумать. Имей я хоть половину тех знаний, которые получила Мадалена, — я бы сейчас шутя настроил все это. Но в конце концов в любом случае этот ворох бумаги на что-нибудь да сойдется.

Что ясно, то ясно: мое образование — а получил я знания по статистике, животноводству, земледелию, коммерческой бухгалтерии — совершенно бесполезно для подобного рода занятий. Не сочли бы меня хвастуном, если я вдруг вверну малоизвестный читателю технический термин. Что же касается всего остального, то тут я полный невежда. И мне очень нелегко. Понятно, в пятьдесят лет трудно учиться тому, чему учатся в юности, да и не стану я это делать.

А в юности я избрал для себя определенный путь и потому не испытывал потребности в этих знаниях.

Целью моей жизни было завладеть землями Сан-Бернардо, построить этот дом, посадить хлопок, клещевину, построить лесопилку, купить хлопкоочистительную машину, превратить дикие заросли в цветущий сад, развести птицу и крупный рогатый скот. Конечно, сейчас легко написать вот так, в двух строках, но когда все начинаешь с нуля — тяжело, чудовищно тяжело, и ты не знаешь, за что зацепиться, всего боишься и осторожничаешь. Еще, по совету падре Силвестре, я построил часовню.

С головой уйдя в хозяйство, я не набрался учености Жоана Ногейры и не научился молоть языком, как Гондин. Те, кто прочтут мою книгу, будут иметь удовольствие, если захотят, перевести все написанное на литературный язык. Если же не захотят, ничего не случится. Я не претендую на звание писателя, и поздно мне менять профессию. Да и малыша, что плачет за стеной, надо учить, как жить на свете.

— Так для чего вы пишете?

— Если бы я знал!

Но хуже всего, что несколько листов бумаги уже измарано, а ничего не начато.

— Мария дас Дорес, еще чашечку кофе.

Погибли две главы. А может, не худо использовать уже написанное Гондином, малость подправив?

3

А, начну-ка я с того, что меня зовут Пауло Онорио. Во мне восемьдесят девять килограммов, и мне только что, в Петров день, стукнуло пятьдесят. Возраст, солидная фигура, густые с проседью брови, красное заросшее лицо — все это всегда вызывает уважение. Не было у меня этой внешности, не было и уважения.

Если говорить начистоту, так то, что мне пятьдесят лет, и то, что я родился в Петров день, не совсем точно. Петров день я стал считать своим днем рождения потому, что в этот день была сделана запись в приходской церкви о моем крещении. Я почти уверен, что там значатся имена крестных, а не отца и матери. Но, раз они пожелали остаться неизвестными, значит, на то у них были свои особые причины. А вот я, как видите, не знаю даже дня своего рождения! Хотя, впрочем, если и есть расхождение между записью в книге и



моим появлением на свет, оно не так уж велико. Месяцем старше, месяцем младше — не все ли равно. То ли еще бывает с делами и поважнее на этом свете?

В своем роду я первый, это меня и огорчает, и радует — ведь мне не нужно поддерживать бедных родственников, которые с бесцеремонностью чумы губят жизнь тех, кто завоевывает себе положение. Их у меня просто нет.

Попытайся я рассказать о своем детстве, мне пришлось бы приврать, ведь всего не упомянешь, да и пустое это занятие.

Помню только слепого, который таскал меня за уши, да старую Маргариду, которая продавала сласти. Слепой куда-то исчез. А старая Маргаридида живет здесь, в Сан-Бернардо, в маленьком чистом домике, в тишине и покое. Еженедельно она обходится мне в десять мильрейсов¹. Это ровно столько, сколько необходимо, чтобы возместить ей то, что она затратила на меня. Ей сто лет, и не сегодня-завтра я куплю ей саван и прикажу похоронить в часовне, рядом с главным алтарем.

До восемнадцати лет я махал мотыгой по двенадцать часов, чтобы получить свои жалкие пять тоста-

¹ Здесь и далее упоминаются старые и новые денежные единицы Португалии и Бразилии: мильрейс — старая денежная единица (тысяча рейсов); тостан — десятая часть мильрейса; эскудо — современная денежная единица, равная мильрейсу; конто — денежная единица, равная тысяче эскудо.

нов. Вот тогда-то я и совершил свой первый проступок, о котором стоит рассказать. На одной из гулянок я пристал к взбалмошной девчонке по имени Жермана и крепко ущипнул ее за зад. Она чуть не уписалась от радости. Заиграла бедрами, а сама пошла к этому типу, Жоану Фагундесу, а тот даже имя носил чужое, конокрадом был. Тут уж я дал ей пинка, а его цырнул ножом. Полицейский комиссар арестовал меня и всыпал мне так, что я всю жизнь помню. Три года, девять месяцев и пятнадцать дней пробыл я в тюрьме. Там, благодаря сапожнику Жоакину, у которого была маленькая Библия, я научился читать.

Сапожник Жоакин умер. Жермана стала проституткой. Когда я вышел из тюрьмы, она торговала собой и болела дурной болезнью.

Но в то время я уже думал не о ней, а думал о том, как заработать деньги. Едва я получил права избирателя, сеу Перейра, ростовщик и политический шеф¹, ссудил мне сто мильрейсов под пять процентов в месяц. Я вернул ему ссуду и получил новую — двести мильрейсов, но теперь уже под три с половиной процента. Ниже процент не падал, но я научился арифметике, чтобы не упускать своего и не позволять обирать себя.

Как жеребенок, когда его холостят (если говорить попросту), бился я в руках этого злодея Перейры: попил-таки он моей крови. Правда, потом я отыгрался: ему пришлось заложить мне свое имущество, а я пустил его по миру. Но это случилось много позже.

Вначале же деньги никак не шли мне в руки. Я гнался за ними без устали, скитаясь по сертану², торгуя гамаками, скотом, карабинами, четками и всякой мелочью. То оставался в убытке, то получал прибыль, но из долгов не вылезал, подписывая векселя и пускаясь в разные рискованные махинации. Терпел голод и жажду, спал под открытым небом на песчаных отмелях, но не пасовал перед сильными и часто, угрожая оружием, получал то, что хотел. Вот вам пример. Доктор³ Сампайо, покупая у меня стадо быков, сумел

¹ Политический шеф — лицо, которому принадлежит негласно политическая власть в деревне или в городе.

² Сертаны — засушливые районы Бразилии.

³ Доктор — человек, имеющий ученую степень.

надуть меня. Я ходил, протестовал, требовал, пытался получить свое, но все без толку, тот и слышать ничего не хотел. Я клял свою судьбу: долговых обязательств до черта. Да что же это такое? Так с человеком не поступают! И так далее и тому подобное. Гнусный мерзавец, насильник, бандит с большой дороги. Надул меня. Но я все-таки не пал духом. Подбил нескольких парней из Канкаланко, и, когда Сампайо возвращался на фазенду¹, мы его подкараулили, затащили в кусты и отделали его собачью шкуру колючими ветками.

— А ну, померяемся силенками. Посмотрим, кто кого. Теперь я тебе покажу, почему фунт лиха.

И тут доктор Сампайо, который мог пролезть в любое игольное ушко, стал взывать к справедливости и богу.

— О какой справедливости толк? Нет справедливости, и бога нет! А есть ваш долг, и сеньор должен раскошелиться и заплатить тридцать конто и еще проценты за шесть месяцев. Или вы заплатите, или я прикажу выпустить вашу кровь по капле.

Доктор Сампайо тут же написал записочку своей семье, и очень скоро тридцать шесть конто и триста мильрейсов были у меня в руках. Посыльным был Казими́ро Лопес. Я отдал Сампайо расписку в полученном, поблагодарил и простился:

— Спасибо. Бог вас вознаградит. Я причинил вам беспокойство. Прощайте. Но о справедливости забудьте, не суйтесь с ней, а сунетесь — я спущу на вас бешеную собаку. Умрете медленной смертью.

В этих местах я больше не появлялся. А если бы вдруг пришлось, то получил бы пулю, и, чтобы никто не узнал меня мертвого, мне бы изуродовали лицо, а денежки забрали бы. Я их возил в кубышке, завернутой в листья и подвешенной к луке седла, где кубышка была всегда на виду и в полной сохранности: упади она, я бы услышал звон монет.

В конце концов, устав от цыганской жизни, я вернулся в родные края. Со мной приехал Казими́ро Лопес, никогда не бывавший в округе Висоза. Он мне нравился: смелый, пытливый, изворотливый, с собачим нюхом и собачьей преданностью.

¹ Фазенда — крупное земельное владение.

Я решил обосноваться здесь, где я родился, где прошло мое детство, в округе Висоза, штат Алагоас, и в ближайшем будущем приобрести фазенду Сан-Бернардо, где я когда-то гнул спину за пять тостанов.

Мой прежний хозяин Салустиано Падилья влачил жалкое существование, отдавая все доходы с именина на образование сына и надеясь, что тот закончит курс наук. Но так и не дождался и умер с голоду.

Тогда я, как бы между прочим, стал встречаться с Падильей-младшим, Луисом. Однажды я его увидел в бильярдной за игрой в баккара¹. Он был пьян вдребезги. Конечно, игра на деньги — само по себе занятие недостойное, глупое, а тот, кто играет и при этом пьет, просто дурак. Полчаса я присматривался и понял: парень новичок и его наглым образом обставляют.

Я свел с ним дружбу и в том же месяце одолжил ему два конто, которые он растранижил на водку и девок из Пан-сен-Милоло. Я смотрел на все его безрассудства с некоторым удовлетворением и, когда он снова оказался без гроша, а я был приглашен на праздник в Иванов день на фазенду Сан-Бернардо, сунул ему еще пятьсот мильрейсов. Увидев вексель, я сделал круглые глаза:

— Это для чего? Между нами... Такие формальности...

Но бумажку спрятал.

Дела на фазенде были из рук вон плохи. Все пришло в упадок: и строения, и хозяйство. Дом поносился, по дорогам ни пройти, ни проехать. Но какая земля, какая великолепная земля!

Ночью, когда черные танцевали самбу под звуки барабана и флейты, кружась в вонючем вихре и поднимая тучу пыли в доме, Падилья водил хоровод с молодыми девицами в заросшем бурьяном дворе, вокруг кастрюли с кукурузной кашей.

Я отвлек его от этого интересного занятия:

— Почему вы так запустили хозяйство?

— Что? — спросил Падилья, прислонившись к сохнувшему от жары дереву. Дым ел ему глаза.

¹ Б а к к а р а — азартная карточная игра.



— Вам бы сюда тракторы, плуги, все хорошо наладить. Вы никогда не задумывались над этим? А какой доход может приносить эта земля, если на ней правильно хозяйничать!

Луис Падилья махнул рукой, выказав прискорбное для хозяина безразличие, и, оборвав разговор, вернулся к танцующим. А утром, пьяный в стельку, он бормотал что-то бессвязное, не давая мне покоя. При каждом толчке повозки, запряженной волами, которая нас везла в город, он приподнимал голову:

— Богатство кругом, богатство, сеу Пауло. Быть беде, быть беде.

Он то и дело хватался за край повозки, и его выворачивало наизнанку. Потом засыпал, а проснувшись, икал и бормотал:

— Плуги, только плуги. Нет ничего лучше плугов.

На следующий день, все еще не протрезвев, Падилья явился ко мне и сказал:

— Пауло Онорио, я пришел посоветоваться с вами. Вы человек практичный...

— Я к вашим услугам.

— Мне кажется, я говорил вам, что решил заняться хозяйством.

— Ну, что-то в этом роде.

— Да, решил. Такое, какое оно есть, меня не устраивает. Дает оно достаточно, но могло бы давать значительно больше, если использовать плуги.... Ведь

так, вы так считаете? Я подумал, не посадить ли маниоку, да и фабрику мукомольную современную не плохо завести, а? Что скажете?

Какой вздор! Пустить такую прекрасную, плодородную землю под маниоку!

— Вы, пожалуй, правы.

Больше у нас с ним разговоров не было, я предоставил его самому себе с его прожектами, пусть обсуждает их в Гурганеме ночью, под гитару. Но с ним что-то произошло. На берегу Парайбы за бутылкой кашасы¹ он только и делал, что мучил своих собутыльников речами о семенах и химических удобрениях. Его захлестнуло тщеславие, он углубился в агрономию, и скоро весь город узнал о плантациях, машинах, мукомольной фабрике.

— Ну, как хозяйничаете, Падиля?

Вначале он отвечал, но вскоре, уловив насмешку, стал избегать подобных разговоров, болезненно переживая предательство друзей.

— Дикари! — ворчал он, не обращая внимания на жульничество партнеров. — Ну, твой ход...

Никто не понимал, кому были адресованы эти слова: картежникам, которые его обставляли, или тем, кто смеялся над его прожектами. Он разыскал меня и стал изливать душу.

— Дикари! Я такое задумал. Вы-то понимаете, конечно, а эти ослы насмешничают. Здесь никто ничего не смыслит, сеу Пауло. Это проклятое место. Здесь только думают, как бы подлость какую подстроить.

И он, в огорчении оттого, что его планы рушатся, признался мне, что пытался получить ссуду у Перейры.

— Скотина! Я все ему расписал, объяснил всю выгодность сделки. Не поверил. Сказал, что все это бред. А я-то на него рассчитывал. Не можете ли вы, сеу Пауло, одолжить мне двадцать конто?

Я, улыбаясь, глядел на это жалкое существо с тонкими губами и желтыми гнилыми зубами.

— Скажи, ты сам себе скручиваешь сигареты или покупаешь готовые? — спросил я.

Падиля покупал готовые.

¹ К а ш а с а — бразильская водка.

— Готовые значительно лучше, я согласен, но и значительно дороже. Так вот, Падилья, если бы ты сам скручивал себе сигареты и должен был бы скрутить тысячу, то ты бы понял, как это трудно. А зарабатывать десять тостанов еще труднее! А конто, друг мой, это тысяча банкнотов по десять тостанов. Двадцать конто — это двадцать тысяч банкнотов по десять тостанов. Мне кажется, для таких, как ты, все это мелочи, вы не умеете считать деньги, для вас это грязные бумажки. А ведь деньги — это деньги.

Падилья опустил голову и процедил сквозь зубы раздраженно, что считать умеет. Он ушел, но потом снова пришел с той же просьбой, и даже не один раз приходил.

— Я что, капиталист, что ли? Ты хочешь меня разорить?

Падилья понял, что просить бесполезно, и предложил в залог Сан-Бернардо.

— Ерунда какая! Сан-Бернардо и выведенного яйца не стоит! Перейра прав. Ваш отец довел фазенду до полного разорения.

И все же я обещал подумать на досуге.

На другой день я опять заметил Падилье:

— Так вот, друг. Деньги — это деньги.

Целую неделю я не говорил ни «да», ни «нет», а меж тем размышлял о Сан-Бернардо. Я старался разузнать все. Меня интересовало даже то, сколько лет хозяину соседней фазенды, старому Мендонсе, долго ли он проскрипит и что собой представляет его фазенда. Когда же я решился, люди осторожные сочли меня сумасшедшим.

Падилья получил двадцать конто (за вычетом того, что он мне был должен, и процентов), купил типографию и решил издавать информационный листок, называемый «Коррейо де Висоза», который разве что четыре раза и вышел, не больше. На смену ему появился «Литературно-увеселительный кружок». Азеведо Гондин разработал устав кружка, и на первом заседании при всеобщем одобрении Падилья был избран его почетным членом и постоянным почетным председателем.

Что же касается сельскохозяйственных проектов Падильи, то они так и остались проектами. Даже каталоги машин, которые он ждал, не были получены.

Он стал избегать меня. Если мы встречались, он смущался, притворялся, что меня не узнает, надвигая шляпу на глаза. Когда же пришел срок оплаты первого векселя, он притворился больным. Я отправился навестить его и нашел вполне здоровым, он играл с Жоаном Ногейрой в триктрак. Увидев меня, он пришел в ужасное замешательство: его тонкие, потемневшие от табака пальцы с обгрызенными ногтями задрожали так, что даже игральные кости, которые он держал в руках, застучали одна о другую.

С того дня он стал прятаться от меня. Мне сказали, что он сбежал в Сан-Бернардо.

— Что он там делает?

Срок последнего векселя подошел в начале зимы. Дождь лил как из ведра. С утра пораньше я приказал Казимиру Лопесу седлать лошадь, надел плащ и отправился в путь. Две легуа¹ за четыре часа. Дорога — сплошное месиво. Но вот показались трубы энженьо² Мендонсы и тот спорный клочок земли, который был всегда камнем преткновения в отношениях между Мендонсой и Салустиано Падильей. Хозяин Бон-Сусесо, старик Мендонса, потихоньку передвигал изгородь, урезая владения Сан-Бернардо.

Я направился прямо к хозяйскому дому, который под проливным дождем выглядел совсем ветхим и разрушенным. Все заросло бурьяном. Я спешил и вошел, громко стуча сапогами и звеня шпорами. Луис Падилья спал в большой комнате, в грязном гамаке, не слыша дождя, который хлестал в окна и через худую крышу заливал пол. Я тряхнул гамак. Испуганный бывший директор «Коррейро де Висозы» вскочил от неожиданности.

— Вы здесь? Как поживаете?

— Спасибо, хорошо.

Я сел на скамью и выложил векселя. Падилья с отвращением отвел взгляд.

— Я много думал о Сан-Бернардо, очень много. Я даже сон потерял. Вчера проснулся, решил встретиться с вами и поговорить, но... не смог. Дождь.

— Оставим дождь.

¹ Легуа — приблизительно 5 км.

² Энженьо — усадьба с плантацией сахарного тростника и небольшой сахароварней.

— Я в очень затруднительном положении. Я хотел бы получить отсрочку с большими процентами. У меня нет другого выхода.

— А фабрика? А плуги?

Луис Падилья ответил уклончиво:

— До плугов ли зимой? Да и денег у меня нет, но дело верное. Нужна отсрочка...

— Нечего об этом разговаривать! Хватит!

— Что значит хватит? Ведь я же сказал, что не могу заплатить сейчас! Разве что, если, конечно, хотите, берите за часть ссуды типографию.

— На что мне типография! Вы что, осел?

— Но это все, что у меня есть. Каждый располагает тем, что имеет. Я должен вам, не отрицаю, но от того, что вы вот так, с ножом к горлу, я все равно не смогу заплатить. Можете меня перевернуть вверх тормашками и потрясти — ни одна монета не выпадет. Я без гроша.

— Это никуда не годится, Падилья. Пришел срок платить по векселям.

— Ну нет у меня денег, нет! Прикажете украсть? Нет, не могу. И все, конец!

— Чему конец, наглый тип? Все еще только начинается. Я отберу у тебя все, пес ты паршивый. Оставляю тебя в одном исподнем.

Постоянный почетный председатель «Литературно-увеселительного кружка» испугался.

— Имейте терпение, сеу Пауло. Криком дела не делаются. Я уплачу. Подождите несколько дней. Долг тяжек для того, кто должен.

— И часа ждать не хочу. Я говорю серьезно, а вы чужь всякую несете! Не время! Хотите решать дело добром? Давайте. Нет — я забираю фазенду. Во сколько вы ее оцениваете?

Падилья открыл рот и вытаращил свои маленькие глазки. Фазенда Сан-Бернардо была ему вроде бы и не очень нужна, но все же дорога как память о детстве. Она служила ему убежищем, где он излечивался от ударов судьбы, разгонял усталость, постреливал птичек, купался в речушке и спал. Последнее время спал слишком много, опасаясь встречи с Мендонсой.

— Ваша цена.

— Но я всегда хотел сохранить фазенду, — прошептал несчастный.

— Зачем? Сан-Бернардо ничего не стоит. Говорю как друг. Да, да, как друг. И потом, я не хотел бы вас видеть на скамье подсудимых. А адвокаты голодны как волки, и, если я прикажу Ногейре взяться за это дело, вам несдобровать. Дорого обойдется, друг Падилья. Говорите цену!

Сделку мы обсуждали до сумерек. Сначала Луис Падилья запросил восемьдесят conto.

— Вы что, сумасшедший? Ваш отец отдавал за пятьдесят Фиделису. И то было дорого. А сегодня, когда энженьо в таком состоянии, ворота спесло соседское стадо, дом разваливается и Мендонса запускает руку в ваш огород...

Здесь я перевел дух и предложил тридцать conto. Он снизил цену до семидесяти. Мы переменили тему разговора. Когда же мы снова вернулись к Сан-Бернардо, я накинул два conto. Падилья уступил еще пять и поклялся, призывая в свидетели небо, что шестьдесят пять conto — это его последняя цена. Я со своей стороны тоже заверил, что и гроша не прибавлю. Но все же предложил тридцать четыре conto. Падилья только ради дружбы согласился получить шестьдесят. Два часа мы препирались, пуская в ход каждый свои уловки, но безрезультатно.

Заговорили о моих скитаниях по сертану. Затем я равнодушно, но твердо повторил тридцать четыре. В ответ я услышал новую цифру — пятьдесят пять. Я проявил великодушие — тридцать пять conto. Падилья уперся на пятидесяти пяти. Тут я его обругал как следует, сказав, что старый Салустиано попросту выбросил деньги на ветер, обучая его в коллеже, и стал угрожать ему. Он пошел на уступки, предложил пятьдесят. Я поднял цену до сорока, сказав, что это мне самому в убыток. И тут и я, и он уперлись на своем. И ни с места. Я припугнул его Мендонсой, который все время отхватывал куски от Сан-Бернардо, судебным исполнителем и, наконец, судебными издержками.

Несчастный, перепуганный Падилья спустил цену до сорока восьми. Я вслух каялся, зачем предложил сорок: фазенда не стоила этих денег — это просто грабеж. Падилья съехал на сорок пять. Я настаивал на сорока. А потом разозлился:

— Да и это слишком жирно для такого ничтожества, как ты!

Остаток за вычетом того, что он мне должен, я собирался оформить векселями. Падилья лишился способности соображать: заплакал, запричитал, стал взывать к богу и расстроил то, что было уже на мази. Пусть придет адвокат, судебный исполнитель, полиция, сам дьявол. Пусть все отберут. Плевать на соглашение! Плевать на закон!

— Какое мне дело до закона? Плевать я хотел!

Конечно, он не умирал с голоду, его не волновал завтрашний день. Деньги у него были. Но если бы мне не удалось склонить Падилью продать Сан-Бернардо, он бы пустил в ход все: газету, адвокатов, кричал бы о грабеже, требовал справедливости. Я считал разумным посочувствовать Падилье: согласился заплатить ему деньги и предложил свой городской дом, который стоил десять конто. Падилья оценил дом в семь конто и сорок три просил за Сан-Бернардо. Я сумел-таки сбить цену еще на два конто — сорок два я давал за Сан-Бернардо и восемь брал за дом. Мы проспорили еще полчаса и пришли к согласию.

Опасаясь, как бы Падилья не передумал, я повез его в город и всю ночь, не сомкнув глаз, караулил его. На следующий день рано утром он попал-таки в ловушку и подписал бумагу. Вытя долг, проценты, стоимость дома, я вручил Падилье семь конто пятьсот пятьдесят пять милрейсов и не испытывал никаких угрызений совести.

5

— Нехорошо сделали, сеньор, купили Сан-Бернардо, а со мной не посоветовались, — крикнул через ограду Мендонса.

— Почему? Разве бывший владелец — пустое место?

— Само собой, — ответил Мендонса, наступая на меня своим горбатым носом и седой бородой. — Сеньор должен знать, как обстоят дела на фазенде, прежде чем покупать спорную собственность.

— Что касается меня, я спорить не намерен. Надеюсь, мы договоримся.

— Это от вас зависит. Вы же знаете, что нынешняя граница между нашими фазендами временная. Хоро-

шо бы провести ее там, где ей положено быть. Каждому — свое. Пожалуй, не стоит приводить в порядок забор, я его сейчас снесу, чтобы мы смогли точнее определить истинную границу.

Тут я поставил старого Мендонсу на место, сказав ему, что он достаточно земли прибрал к рукам в Сан-Бернардо, и попросил показать, какие у него имеются документы. Если к соглашению мы не придем, так лучше всего пригласить адвоката и землемера.

— Отлично! С адвокатом вы уже снюхались, и я в ваших руках. Но нет, этому не бывать. Вали забор.

Я быстро прикинул, сколько с ним пришло работников, сосчитал своих и сказал Мендонсе, что у него ничего не получится. Обсудить по-хорошему — пожалуйста, а скандалить ни к чему.

Немного успокоившись, я решил с ним не связываться. Зачем мне связываться с Мендонсой, с этим зловредным старикашкой. Чего я твердо не хотел — это подчиниться ему сразу, с первой встречи.

Казими́ро Лопес шагнул было к Мендонсе, но я тронул его за плечо, и он отступил. Мендонса все понял и повел разговор как должно. Я ему заплатил той же монетой и, зная, что ему необходима древесина, предложил кедры, росшие поблизости от его фазенды Бон-Сусесо. Он сразу отказался, но тут же заговорил об обмене кедров на телков зебу. Я ответил ему, что не собираюсь разводить зебу. Больше всего меня интересуют лиможские и швейцарские быки. Мендонса с презрением относился к породистому скоту: ест много и гибнет от клещей. Он откармливал бычков для мясной лавки.

А я все навязывал ему древесину, и он заколебался. Мы разговаривали сухо, отрывисто, улыбались через силу. Парни внимательно прислушивались к нашему разговору. Будучи человеком трезвым, я не обманывал себя: все эти тары-бары с Мендонсой ничего не стоят, и с ним еще придется схватиться. Мендонса скреб бороду.

— А насчет того, где быть меже, решим попозже и спокойно.

— Вот и прекрасно, — согласился Мендонса.

Мы простились. Я продолжал тянуть колючую проволоку и заменять старые зажимы новыми. Мендонса

издали буравил меня воспаленными глазами и улыбался.

Вечером, когда я возвращался домой, Казими́ро Лопес хмуро тащился следом. Поскольку я молчал, он закашлялся и остановился. Я прислонился к дереву и сказал то, о чем думал целый день:

— Завтра прихвати с собой четверых парней и отправляйтесь осушать болото. И ручей отведите, чтобы вода луг не заливала.

— И все?

Я подумал, что вместо того, чтобы осушать болото, лучше было бы позвать Каэ́тано и начать работы в каменоломне. Но не отменил распоряжения. Отмена распоряжения чести хозяину не делает.

— И все? — еще раз спросил Казими́ро Лопес.

Я прочел его мысли на скуластом лице с толстыми губами и узким лбом под всклокоченными волосами. Скорее всего он прав. Нужно быть осторожнее: обходить заросли, быть внимательным на дорогах. Да еще дом: щели, дыры, покосившиеся стены.

Я было решил все-таки позвать Каэ́тано и каменщиков.

Но тут же отказался от этого поспешного решения.

— Да, пока все.

6

Следующий год выдался тяжелый. Я посадил пшеницу и хлопок, но урожай собрал плохой. К тому же цены были низкие, и я промаялся несколько месяцев, торгуя обезьянами, лишь бы не умереть с голоду. Спал мало, вставал в четыре утра, работал как проклятый под солнцем, под дождем, вооруженный ножом и пистолетом, съедая в часы отдыха кусок жареной трески и пригоршню муки. Вечерами, лежа в гамаке, я объяснял Казими́ро Лопесу все, что ему надлежало делать. Он садился на циновку и, несмотря на усталость, внимательно слушал. Изредка во дворе лаял Тубаран. Это нас настораживало.

Однажды мы услышали шаги. Кто-то ходил вокруг дома. Я посмотрел в щель в стене. Тьма была хоть глаз выколи, но все же я разглядел какую-то тень. Шаги возобновились. Собака залаяла и заворчала.

— Этого еще не хватает! — пробормотал Казимиро Лопес.

На следующий день я отправился к Мендонсе, который встретил меня с некоторым беспокойством. Поговорили о том о сем, больше всего о выборах. Я сделал комплимент его дочкам — они были старые девы, — а старику Мендонсе, потерявшему жену, подругу жизни, прекрасную, добродетельную женщину, посочувствовал. Да, посочувствовал. Мендонса, пораженный, спросил, где же я мог видеть дону Алешандрину.

— Да это давно было. Я раньше работал у старого Салустiano. Батраком.

Девуцы смутились, но старик нашел, что это почестному — говорить так откровенно, не скрывать своего происхождения. Потом пожаловался на соседей (никто с ним не дружит).

— Да, здесь люди — дрянь! Начинали как и вы, а теперь корчат из себя невесть что. Никакая работа не позорит человека. Если кто и родился в грязи, к чему скрывать?

Но все же Мендонса не удержался, съязвил:

— Так, значит, батрак, да? Ничего, ничего. Вон Фиделис сегодня — хозяин энженьо, а совсем недавно кур воровал.

Пока он сплетничал о всех и каждом, я наблюдал за ним и видел, как мало-помалу беспокойство, вызванное моим приходом, исчезало. Он, казалось, забыл обо всем на свете, злословил, высмеивал своих соседей, но, скорее всего, это был маневр. Я тоже говорил о выборах, старался как мог скрыть причину моего прихода. И очень может быть, не обмани я его, он обманул бы меня, сыграв ту же самую шутку, которую я намеревался сыграть с ним. Надо заметить, что он оказался неплохим актером: его болтовня о соседях почти убедила меня, что Мендонса ничего не подозревает. Я тоже играл, и неплохо: он вроде поверил, что я пришел поговорить о политике. Но, если он поверил, он просто дурак. А может, и не поверил сначала, а потом усомнился. Со мной именно так и было. Уже потом, вспоминая его болтовню, его жесты и все рассказанные им истории, я обнаружил, что хозяин Бон-Сусесо мне даже чем-то приятен.

А пока мы разговаривали, я продолжал к нему присматриваться. Он вдруг встрепнулся, зевнул,

показывая острые желтые клыки, и убил москита. Москиты здесь впиваются, как пули. Всю ночь глаз из-за них не сомкнул, — жаловался Мендонса.

Я ответил, что спал как убитый. Болота в Сан-Бернардо осушены, ни одного москита не осталось. И тут же пожалел, что так опрометчиво высказался. Мендонса искоса взглянул на меня и, думаю, неспроста. Он снова стал говорить о бессонной ночи, а я повторил, что спал как убитый, но в голосе моем уже не было прежней уверенности. Мендонса понял, что я вру.

Каждый из нас глупо лгал. Я снова завел разговор о временах, когда работал батраком. Но девицы потеряли ко мне интерес, и Мендонса тоже недовольно поморщился.

В этот момент в комнату вошел какой-то кабокло¹ неприятной наружности. Мендонса нахмурился и явно хотел меня выпроводить. Я чувствовал себя лишним, но продолжал сидеть, испытывая их терпение. Девушки сочли меня нудным, это для меня было ясно.

— Если следующая зима будет такой же, как эта, все погибнет, все сгниет, маниока даже ростков не даст.

— Очень может быть, — согласился Мендонса, явно раздосадованный присутствием парня, который смотрел на меня исподлобья.

— Ну, я пошел, — неожиданно сказал я и поднялся. — Встретимся на выборах в воскресенье. Ладно? Я зарезу (чуть было не брякнул — «быка», но вовремя спохватился: все знали, что у меня всего полдюжины избирателей) ...барана. Барана, не так ли? До воскресенья.

И я, недовольный собою, вышел. Вот приблизительно тот разговор, что был между нами. Подробности не припомню.

Я пересек двор и пошел по тропинке к Сан-Бернардо. Чтоб его черти побрали! Захватить чужую землю и содержать ее так безобразно: тропа заросла бурьяном, ветки переплелись и хлещут по лицу!

Я быстро прошел запущенную часть дороги. Изгородь все еще была на том же месте, что и в прошлом году. Мендонсе очень хотелось ее передвинуть, но он побаивался. Я же надеялся восстановить прежние гра-

¹ Кабокло — метис от брака индианки и белого.

ницы Сан-Бернардо, но медлил. И вот, после того, как один мулат из Сан-Бернардо испортил дочь сахаровара, служившего у Мендонсы, старик пустил в ход плоскогубцы, но я привел в порядок проволоку и женил парня на девке.

Я кинул взгляд на хлопковую плантацию и пошел к плотине. Как мало рабочих!

Поднялся на холм. Фундамент нашего дома был заложен, начинали возводить стены. Вдруг раздался взрыв. Я вздрогнул. Взрывали в карьере, где Каэтано работал с двумя землекопами. Еще взрыв, послабее, — полетел мелкий щебень.

Работа двигалась еле-еле — конца не было видно. А у меня не хватало средств, чтобы взяться за дело как следует. Больше того, в пятницу я частенько не знал, чем буду расплачиваться в субботу с теми, кто у меня работал.

Я поговорил с каменщиком. Он был у меня единственный. Стены выросли на метр, не больше. Конечно, если бы я мог нанять нескольких каменщиков, мне бы все встало дешевле. Постройка плотины остановилась. В карьере, где копошились две тени, было все как и полгода назад.

Внизу проехала повозка, запряженная волами, за ней другая, груженная кирпичом.

Где сейчас старая Маргарита? Было бы неплохо отыскать ее и привезти в Сан-Бернардо. Ей, верно, бедняжке, уж сто стукнуло.

Я подождал, пока рабочие вымыли лопаты и убрали инструмент. Остался один. Рабочие ушли и с поля, и с плотины.

Еще несколько взрывов в каменоломне, последние. Я подумал о Мендонсе. Каков, а? По эту сторону изгороди на возделанной земле поднимался хлопок, росла клещевина, по ту сторону — бурьян и колючки. Сколько земли украл этот мошенник! К счастью, мы все-таки пока ладим. Пока мне надо с ним ладить.

Я спустился вниз и пошел обедать. За обедом завел разговор с Казими́ро Лопесом — вначале о всяких пустяках, потом о важном: я кое-что задумал. Казими́ро Лопес пропустил мимо ушей начало разговора, но то, что я задумал, оценил.

Я тут же, не откладывая, решил действовать, запер двери и написал письма в столичные банки и

губернатору штата. У банков я просил ссуды, а губернатору сообщал, что работы по строительству лесопилки и плотины идут к концу, и просил освободить меня от налогов на ввоз машин. Конечно, и займы, и все остальное было фантазией чистейшей воды — я не представлял себе, как смогу оплатить машины. Но я привык к мысли, что они наполовину куплены.

Следом за этим я справился в сельскохозяйственной академии Сатубы, можно ли приобрести у них лиможского бычка.

Когда я дописывал последнее письмо, я опять услышал шаги за домом. Я встал, подошел к стене и посмотрел в щель. Какой-то парень приманивал собаку. Вглядевшись, я узнал в нем того хмурого кабокло, которого видел у Мендонсы, когда был у него. Я отошел от стены и позвал Казимира Лопеса. Он встал у щели, как на пост. Я лег спать, думая о Каэтано и каменоломне, молотках, рычагах, сверлах, порохе, фитилях и бикфордовом шнуре.

— Это человек Мендонсы, — шепнул мне Казимиру Лопес, тронув гамак.

— Я в этом уверен.

На следующий день, в субботу, я зарезал барана для избирателей. В воскресенье вечером, возвращаясь с выборов, Мендонса получил пулю под ребро и дал дуба тут же на дороге, недалеко от Бон-Сусесо. На этом месте теперь стоит сломанный крест.

В то время, когда это случилось, я был в городе, разговаривал с викарием относительно часовни, которую решил построить в Сан-Бернардо в будущем, если дела пойдут хорошо.

— Какой ужас! — воскликнул падре Силвестре, услышав об убийстве. — У него были враги?

— Были, конечно. У кого их нет? Враг — как клещ. Так закончим, падре Силвестре. Сколько стоит колокол?

7

Примерно в это же время в Масейо, в одно из моих посещений редакции газеты Брито, я встретил худого, сгорбленного, желтолицего старика с бакенбардами по имени Рибейро. Он голодал — это сразу бросалось в глаза. Старик мне понравился, а поскольку я нуж-

дался в бухгалтере, я привез его в Сан-Бернардо. Поверил ему, выслушав его историю, которую здесь слово в слово передаю, старательно сохраняя его манеру говорить, разве что изменив лицо, от которого идет повествование.

Сеу Рибейро было семьдесят лет, и он был несчастлив, но когда-то был молод и счастлив. В местечке, где он жил, мужчины при встрече с ним снимали шляпы, а женщины, склонив головы, говорили:

— Благословен господь наш Иисус Христос, сеу майор¹.

Когда кто-нибудь получал письмо, он шел к Рибейро и просил его прочесть. Сеу Рибейро читал все письма, знал все секреты, его уважали и звали майором.

Если соседи ссорились из-за земли, сеу Рибейро приглашал их к себе, вникал в суть спора, проводил между и ссоры кончались.

Все верили в мудрость майора. И в самом деле, сеу Рибейро был человеком умным: он знал старые законы, читал старые газеты и книги, в которых было много никому не известных, трудно произносимых слов. Разбирая их при свете масляной коптилки, он опалил себе ресницы. И если сеу Рибейро решал ознакомить жителей поселка с одним из этих необычных слов, он делал это обстоятельно, объясняя его значение, и таким образом повышал грамотность своих ближних.

Мужчины в поселке были наивны и простодушны. Случалось, что кто-нибудь из этих наивных, простодушных людей погибал от ножа или удара дубиной. Сеу Рибейро, сама справедливость, находил убийцу, вязал его и привозил в городскую тюрьму, а семья покойного оставалась под покровительством майора.

Бывало и так, что какая-нибудь молодая девушка принималась плакать без видимой причины, однако вскоре признавалась, что беременна. Сеу Рибейро находил соблазнителя, звал священника, и все завершалось венчанием в местной часовне. Рождался младенец — сеу Рибейро становился крестным.

Когда майор принимал решение, никто не протестовал. Его решения были законом.

¹ Майоры (и полковники) — так именовали себя бразильские помещики-латифундисты; эти звания офицеров запаса они нередко приобретали за деньги.



В местечке не было ни судьи, ни солдат. А так как викарий жил далеко, молитвы, перебирая четки, читала жена сеу Рибейро. Она же рассказывала детям истории о святых. Конечно, не все эти истории были правдивы, но дети в те времена не очень задумывались над правдой.

У сеу Рибейро был большой дом и маленькая семья. Дом — полная чаша. И хлопковые плантации большие были. Когда приходила осень, весь поселок шел к сеу Рибейро убирать урожай. И черные не знали, что они черные, а белые не знали, что они белые.

Сеу Рибейро всем внушал уважение. Если на ярмарке затевалась какая-нибудь свара, он поднимал руку и кричал:

— Кто за меня, идет со мной.

Свара прекращалась, но ярмарка расстраивалась, так как все шли за майором, потому что все уважали майора.

В канун Иванова дня самый большой костер озарял дом сеу Рибейро. У других домов тоже горели костры, но в костре возле дома майора было больше дров. Молодые девушки и парни водили вокруг костра хороводы. Пекли молодую кукурузу и громко палили из мушкета. Мушкет был у майора, но стреляли из него только в Иванов день.

Теперь все в прошлом. Все переменилось. Кто-то родился, кто-то умер, крестники майора выросли и

ушли служить в армию или работать на железную дорогу.

Местечко стало поселком, поселок превратился в город с политическим шефом, судьей, прокурором и комиссаром полиции. Появились разные машины, а хлопкоочистительная машина майора сломалась.

Приехал викарий, который закрыл часовню и построил красивую церковь. Истории о святых умерли в памяти детей.

Приехал врач. Он не верил в святых. Жена сеу Рибейро погрузилась, стала хиреть и умерла.

Адвокат открыл консультацию, мудрость майора стала никому не нужна, и судебные разбирательства пошли одно за другим.

Да, прогресс торжествовал победу. Многие мужчины надели галстуки и приобрели ранее неизвестные профессии. Повозки, запряженные волами, перестали скрипеть на узких дорогах. Появились автомобили, бензин, электричество, кино... И налоги.

Теперь девушки и парни не кружились, взявшись за руки, вокруг костров в ночь накануне Иванова дня, они танцевали танго и фрево¹.

Однажды сеу Рибейро понял, что живет в слишком большом для него доме. Он продал его и купил другой, маленький. Поскольку уже никто не зависел от майора, власть его над людьми становилась все меньше и меньше и скоро была совсем утрачена.

У сеу Рибейро был сын, который играл в футбол, и дочь, которая носила ленты, много лент. Вскоре они рассудили, что их городок слишком провинциален, и сбежали куда-то. Сеу Рибейро, сгорая от стыда, никому на глаза не показывался. Неделью спустя он, очень расстроенный, распродал свою рухлядь и отправился на поиски детей. Но не нашел ни сына, ни дочери: они жили где-то далеко — дочь работала на фабрике, а сын ушел в солдаты.

Рибейро остался в столице. Он побывал в больницах для неимущих, ночевал на скамейках в городском саду, торговал лотерейными билетами. Подвизался в разных сомнительных заведениях.

¹ Фрево — массовый карнавальный танец на севере Бразилии.

Десять лет спустя его взяли управляющим и бухгалтером в «Журнал» с жалованьем сто пятьдесят мильрейсов, и он частенько просил у друзей займы.

Когда старик закончил свою исповедь, я воскликнул:

— Здорово вас переехало! Надо было пошевелиться, черт побери!

8

Тот самый кабокло, которого я однажды встретил в доме Мендонсы, погиб. Дело обыкновенное. Этот народ никогда не умирает собственной смертью. Кого змея укусит, кто сопьется, а кто руки на себя наложит.

В каменоломне я тоже потерял рабочего: сорвался камень, ударил его в грудь — и готово. Осталась вдова и малолетние сироты. Они все погибли: один ребенок сгорел, другой умер от глистов, третий — от ангины, а мать повесилась.

Чтобы все рабочие не перемерли и чтоб работали лучше, я запретил пить водку.

Новый дом уже был закончен. Думаю, нет нужды его описывать. Основное о доме уже известно читателю по предыдущим главам или будет известно из последующих. А подробно описывать ни к чему. Это могло бы заинтересовать архитекторов, но они вряд ли станут читать мою книгу. Дом получился очень красивый и удобный. Теперь я уже больше не спал в гамаке. Купил мебель и всякие вещи, которыми стал пользоваться с осторожностью, кое-чем я до сих пор так и не пользуюсь, потому что не знаю, для чего это предназначено.

Вот так вертелся я пять лет. Ну, ясно, и земля не стояла на месте, — тоже вертелась.

Едва ли кто-нибудь подумает, что, преодолевая все эти препятствия, я все время уверенно шел вперед. Это, конечно, не так, или, вернее, не совсем так. Я испытал все: и унижение, и неуверенность в себе, и желание все бросить. Часто я отступал, шел окольными путями. Вы находите, что все, чего я достиг, я достиг не очень честным путем? Возможно, но я никогда не знал, когда я поступал хорошо, а когда плохо. Я делал добро, а оно приносило мне зло — убытки; я делал зло, а оно приносило мне добро — доход. А поскольку един-

ственным моим желанием было завладеть землями Сан-Бернардо, я считал, что для достижения цели все средства хороши.

И, благодарение богу, получил больше, чем надеялся получить. Пришли ко мне морщины: старость, видно, уже на пороге; но то, чего я тщетно добивался в юности — положения в обществе, — теперь завоевано. И налогов я плачу меньше. Дела мои идут сами собой. Трудно? Ничего. Если уж вошел в колею, то все идет само собой, никаких забот. Если нет — пиши пропало. Однако, как только вы увидите, что вам начинает везти, — действуйте, действуйте немедленно: все глупости, которые вы совершите, обернутся мудростью. Я встречал людей, которые всю жизнь надрывались, а проку никакого, встречал и ленивых, но таких, что чувствуют, куда ветер дует. Эти не упустят подходящий момент — захапают все, что только можно.

Я не ленив. Мне повезло с самого начала, а дальше я уже крепко держал в руках фортуна и заставлял ее быть ко мне благосклонной.

После смерти Мендонсы я тут же старый забор уничтожил и поставил новый дальше того места, где проходила межа еще при жизни Салустияно Падильи.

Дочери Мендонсы стали протестовать.

— Дорогие сеньоры, сеу Мендонса тут своевольничал в свое время. А теперь все на своих местах. А кому не нравится, ну что же, идите к судье за справедливостью.

Но, поскольку справедливость стоила дорого, они не пошли ее искать. А я двинулся дальше по проторенной дорожке: прибрал к рукам землю Фиделиса, однорукого паралитика, и земли братьев Гама, которые кутили в Ресифе, изучая право. Поощаил только энженью судьи Магальяэнса.

Мелкие злоупотребления прошли незамеченными. А крупные — были выиграны в суде благодаря сутяжническим способностям Жоана Ногейры.

Я шел на рискованные сделки, залезал в долги, покупал машины, не обращая внимания на тех, кто считал, что я хочу объять необъятное. Я посадил сад и развел домашнюю птицу. А для того, чтобы плоды моего труда можно было доставить на рынок, я начал строить шоссе. По поводу предпринятого мною строительства Азеведо Гондин тут же написал



две статьи в газету. Он цитировал Форда и Делмиро Гоувейю, а меня называл патриотом. Коста Брито тоже опубликовал одну заметку в «Жорнал», вознося хвалы мне и местному политическому шефу. И взял у меня сто мильрейсов в вознаграждение.

Но, несмотря на все эти хвалебные статьи, на меня обрушились неприятности. Пока я занимался Сан-Бернардо, все шло хорошо, но когда я стал прибирать к рукам четвертое или пятое поместье, на меня налетел осинный рой. Я потерял двух рабочих, и сам получил пулю в плечо. Ранение пустяковое, но след остался. Раздраженный, я послал Коста Брито еще сто мильрейсов и обратился за помощью к Жоану Ногейре и Гондину:

— Эти идиоты охотятся за мной. А ведь я стараюсь для общества и налогов не беру. Просто позор. Муниципалитет должен помогать мне. Поговорите с префектом, доктор Ногейра. Может, он мне даст две бочки цемента для постройки моста.

Цемент я не получил, но мост построил. Поскольку замыслы мои были грандиозны и дела, которые я обделывал, были, мягко говоря, необычными, соседи сочли меня сумасшедшим и оставили в покое.

В это самое время ко мне пожаловал губернатор штата. У меня уже три года как была построена плотина — бессмысленная затея, по мнению Фиделиса.

— Для чего плотина, если есть речка, которая не пересыхает?

Так-то вроде бы и не к чему. А все-таки она нужна была, чтобы привести в движение хлопкоочистительную машину и лесопилку.

Губернатору понравился и фруктовый сад, и породистые куры, и хлопок, и клещевина. Он нашел, что лиможское стадо достойно внимания. Попросил фотографии. Поинтересовался, есть ли школа. Я ответил, что школы нет. За завтраком, поднимая бокал шампанского, доктор Магальянс произнес речь. Когда его превосходительство заговорил о школе, я хотел было вернуть словцо, но сдержался.

Школа! Какое мне дело, кто умеет читать и писать, а кто нет!

— У этих чиновников не все дома. Посылают учителей собирать клещевину. Надо видеть это!

Поднимаясь из-за стола, полупьяный Падилья шепотом попросил у меня пятьдесят мильрейсов.

— Ни гроша не дам.

И я пошел показывать губернатору лесопилку, хлопкоочистительную машину и скотный двор. Рассказывал про пресс, динамо, пилы и опрыскиватели для уничтожения вредителей. Неожиданно мне пришло в голову, что пообещай я ему школу — это бы расположило губернатора ко мне, и он более благосклонно отнесся бы к моим просьбам, с которыми я хотел к нему обратиться.

— Так вот, сеньор, когда ваше превосходительство пожалует сюда снова, то здесь все будут держать в руках букварь.

Несколько позже, когда мы с фундамента будущей часовни любовались пейзажем, я отозвал в сторону адвоката.

— Доктор Ногейра, пришлите завтра ко мне Падилью. Надо с ним поговорить. Этот кретин на ногах не держится. Не забудьте, слышите? Завтра, когда у него хмель выветрится.

Его превосходительство отбыл, но день этот я запомнил. Губернаторский кортеж двигался по шоссе. Глядя на клубы пыли, я потирал руки:

— Черт возьми! Этот визит принес мне немалую выгоду. Можно сказать, капитал. Интересно, какова будет прибыль.

Однако, стараясь, чтобы все видели мою новоприобретенную уверенность, я все же здорово побаивался

кредиторов. Все шло как по маслу, доходов было больше, чем расходов, но если бы эти злодеи захотели меня выхолостить, они сделали бы это без особого труда. И все-таки страх мой пошел на убыль. Школа — ведь это тоже капитал. Да и фундамент, что заложен для часовни.

Я потирал руки. Черт возьми! Дочерей Мендонсы я решил взять под свое покровительство. Как-никак преуспевать-то я начал после его смерти. Когда-то несколько брас¹ плодородной земли для меня были самым главным в жизни. Теперь эта земля для меня пустяк, и мне стало жаль старых дев.

Назавтра я приказал своим батракам привести в порядок жалкую, заросшую травой хлопковую плантацию в Бон-Сусесо. Мендонса был, конечно, подлецом, но эти-то бедняжки чем виноваты? И я надумал заняться их хозяйством, чтобы соседи не завладели тем, что принадлежало сиротам. Женщины — существа беззащитные. Пусть только кто-нибудь попытается посягнуть на их собственность, он будет иметь дело со мной!

9

На следующий день, вернувшись с поля, я застал на веранде Жоана Ногейру, Падилю и Азеведо Гондина за беседой о чьих-то ножках и фигуре. Все были увлечены разговором.

— Женщина воспитанная, — говорил Жоан Ногейра. — Образованная.

— И рассудительная, — добавил Азеведо Гондип.

Падиля находил, что лучше всего у этой женщины ножки и фигура и, ковыряя спичкой под ногтями, пробормотал:

— Да, действительно.

Жоан Ногейра, впрочем, тут же спохватился, ведь он — человек солидный, бакалавр, уже за сорок, да и лысина появилась. Иногда он, правда, оказывался среди болтунов и бездельников, но с клиентами говорил только о делах. Да и со мной, который платил ему четыре конто и восемьсот мильрейсов в год за то, что

¹ Браса — принятая в Бразилии мера площади (около трети гектара).

он помогал, зная законы, привести в порядок Сан-Бернардо, держался уважительно и никогда не говорил лишнего. А я, обращаясь к нему, называл его не иначе, как «доктор», и не лез в приятели. Я, конечно, ставил себя выше, но ни ученостью, ни хитростью такой, как у Ногейры, похвастаться не мог. Порой я в душе понимал, что его изворотливость достойна презрения. Но именно она, его изворотливость, была мне необходима, и мы уважали друг друга.

— Мы провожали нашего Падилью,— сказал Ногейра.— Шли пешком. Вечерняя прохлада располагает к прогулке, и я пришел сюда, чтобы дать вам кое-какие советы по тем делам, которые вас интересуют.

Я пригласил его войти, молча глядя в окно, через которое видел седые бакенбарды и очки сеу Рибейро, склонившегося над бухгалтерскими книгами. Мы вошли в контору. Было начало месяца. Я открыл несгораемый шкаф и вручил адвокату два банкнота по двести мильрейсов. Сеу Рибейро со свойственной ему аккуратностью занес в книгу записей сумму и незаметно вышел. Жоан Ногейра сел, написал расписку, вытащил бумаги из портфеля и объяснил мне, в каком состоянии мои судебные иски. И сразу же убедил меня в том, что только что выданные ему четыреста мильрейсов ушли из моего кармана с пользой. Даром денег он не брал. Вот нотариус не внушал ему доверия. Да и судебный исполнитель. Всем нужны деньги.

— Ну что ж, доктор Ногейра, пообещайте, но вперед ни копейки. Пообещайте, а расплачиваться будем потом, когда они выполнят свои обязательства.

Я спросил о каких-то мелочах, дал указания сеу Рибейро, и мы вместе с Ногейрой вышли на веранду, где Луис Падилья и Азеведо Гондин все еще восхищались ножками.

— О чьих ножках толк?

— Мы говорим о Мадалене,— ответил Гондин.

— О ком?

— Об учительнице. Вы ее знаете? Красивая.

— Воспитанная,— вставил Жоан Ногейра.

— Красивая,— повторил Гондин.— Белокурая. Лет тридцать.

— Сколько? — спросил Жоан Ногейра.

— Лет тридцать.

— Самое большее — двадцать.



— Ну, это вам показалось. Вы не видели ее близко,— прервал Гондин.— А если бы видели, то не говорили бы чепухи.

— Как это не видел? Видел, и очень близко, в доме Магальянса. На дне рождения Марселы. Ей двадцать.

— Вам показалось, что двадцать. Вечером видели. А утром другое дело. Ей тридцать.

Падилья, с грустью глядя на телушек, которые щипали на берегу ручья сочную траву, и на плотину, возле которой плавали утки, вздохнул и предположил, что учительнице двадцать пять.

— Вот это похоже! Двадцать пять.

Я потянулся, усталый после целого дня, проведенного на солнцепеке в спорах с рабочими.

— Ну ладно, Падилья, пусть будет двадцать пять! Вы останетесь ужинать? Обратно поедете на автомобиле. Хочу поговорить с вами, Падилья.

Луис Падилья, зная еще со вчерашнего дня о предстоящем разговоре, сгорал от любопытства, теряясь в догадках.

— Так вот. Я думаю открыть школу.

— Великолепно! — воскликнул Азеведо Гондин и улыбнулся так широко, что нос его совсем расплющился.— Вы согласились со мной, не так ли? Образование необходимо.

Адвокат провел рукой по лицу и рассеянно сказал, что школа принесет большую пользу.

Я пожал плечами.

— Кто его знает! Не очень-то я в это верю. Тем более что я собираюсь поручить школу Падилье. Конечно, польза была бы, если бы он смог организовать хорошую деревенскую школу с серьезным обучением сельскому хозяйству и животноводству. Но где найти учителей? И денег пропасть понадобится! Так что пока придется учить лишь письму, чтению да счету. Ну, согласны вы взять на себя это, Падилья?

Луис Падилья поинтересовался жалованьем и сказал, что он невероятно занят.

Стемнело, зажглись электрические лампочки. Вот так-то! А ведь несчастные, кутившиеся там внизу, за забором фазенды Бон-Сусесо, и мечтать не могли об этом. Свет до полуночи. Какое удобство! Я хотел провести еще и телефон.

Казими́ро Лопес, хро́мая, подошел ко мне.

— Давайте ужинать! Я приказал позвать вас, Падилья, считая, что мое предложение может вас заинтересовать. Но раз вы так заняты — ничего не поделаешь. Прошу к столу.

За ужином выяснилось, чем вызван был сегодняшней визит Гондина: он узнал где живет старая Маргарита.

— Не может быть! Что же вы до сих пор молчали, Гондин?

Азеведо Гондин наполнил стакан.

— Она живет в Жакаре-дос-Оменс.

— Это где?

— В Пан-де-Асукар. Сегодня я получил письмо. Все приметы, возраст, цвет кожи — все совпадает. Живет в семье сыроваров. Из «Крузейро» я взял объявление обратно.

— Очень хорошо. А вы знаете кого-нибудь в Пан-де-Асукаре? Может быть, сеу Рибейро знает?

Ни тот, ни другой не знали.

— Гондин, раз вы уже взялись за это, попросите викария написать падре Соаресу насчет старухи. Я, пожалуй, поеду с вами вместе и поговорю с падре Силвестре. Надо старую перевезти осторожно, чтобы не заболела в пути. А когда она сюда прибудет, вы можете заказывать буквы. Как там они называются?

— Клише и виньетки.

— Так вот посылайте за клише и виньетками, сразу же как Маргарита сюда приедет.

— Я вот все раздумываю о школе,— пробормотал Падилья.

— И я,— прервал его Жоан Ногейра.— Вы меня опередили, Падилья. Сеу Пауло, пригласите Мадалену. Она просто находка для вас. Образованная женщина.

— Она украсит дом, сеу Пауло! — воскликнул Гондья.

— Глупости! Мне что, для дома безделушки не хватает?

Падилья, не зная, на что решиться, по своему обыкновению, продолжал ломаться:

— Я же прямо не отказывался. Я только сказал, что очень занят. А потом это зависит от жалованья...

Занятый куриным крылышком, я ничего не ответил.

— Хотелось бы знать, сколько вы собираетесь платить,— боязливо повторил Падилья.

Такой жалкий, такой ничтожный и нудный. Ну просто клоп.

— Ну что ж, рискнем, Падилья, будем считать, что мы договорились. Вот только сколько вы стоите? Сто мильрейсов в месяц. Да ладно, для начала положу вам сто пятьдесят. Дом, стол, приятное общество, сто пятьдесят мильрейсов в месяц и восьмичасовой рабочий день. Подходит? Но предупреждаю сразу. Служба есть служба, и у меня никто не пьет. Только гости.

— Очень хорошо,— сквозь зубы отозвался смущенный Падилья.— Я подумаю. А насчет спиртного — я в наставлениях не нуждаюсь, я не пью. Разве что за обедом рюмку, да с друзьями, и то не всегда. Я, пожалуй, приму ваше предложение.

Обед мы закончили молча. Мария дас Дорес принесла кофе и убрала посуду. Я предложил сигары, раскурил трубку, и все перешли в гостиную.

Сеу Рибейро развернул газету. По привычке я выбрал местечко подальше от открытых дверей, но оказался у открытого окна. Хотел было закрыть его, но раздумал: Казими́ро Лопес, мой телохранитель, уселся на фундамент будущей часовни, поставил винтовку между ног и застыл, глядя вдаль.

— Вот, Падилья, вы и вернетесь в Сан-Бернардо,— сказал Ногейра.

— И допишите вашу книгу,— добавил Азеведо Гондин.— При строго организованной жизни можно многое сделать. Не так ли?

— Какое там!

Падилья стыдился своих сочинений. Он написал несколько рассказов, которые опубликовал в «Крузейро» под псевдонимом, и теперь, когда речь заходила о его творчестве, воображал, что все только и думают, как бы его поддеть. Он выпрямился, кинул горестный взгляд на стулья, пол, лампы:

— Жалованье маленькое, на книги и то не хватает. Но я согласен. Согласен потому, что речь идет о педагогике, а у меня к ней склонность.

Сеу Рибейро листал газету, двигал губами, иногда качал головой.

Эта газета просто неприлична. И Брито, бесконечно просящий денег, становится невыносим.

Азеведо Гондин, уставший после долгого пути, зевнул, потянулся и спросил:

— Итак, кандидаты Перейры побеждены?

Муниципальные выборы были на носу.

— Меня это не интересует. Пустая трата времени!

Я сказал неправду. Ведь, поставляя избирателей, я получал благодарность от партии. Но местные интриги меня и вправду не волнуют, нет. Если Перейра поскользнулся на банаповой корке, тем хуже для него — пусть уходит со сцены, а на смену ему придет другой, с другими кандидатами.

— Так ему и надо,— ворчал Падилья, который никак не мог простить Перейре, что тот ставил под сомнение его сельскохозяйственные проекты.— Он просто осел!

— Ну это несправедливо! — крикнул Жоан Ногейра и улыбнулся.— До сих пор все считали Перейру человеком разумным. За ум его и хвалили. А сегодня Падилья вдруг произвел его в ослы.

— Он прав,— отважился Азеведо Гондин, почесывая подбородок.— Я тоже так думаю. Да и вы про себя думаете то же самое. В такой момент выйти из игры? Ну добро бы это были федеральные выборы — тогда, как говорится, всякое может быть. Но у себя-то в округе, тем более что правительству наплевать на наши дела... Зачем было подставлять ножку падре Силвестре в префектуре? Падилья прав!

— Ну и ну! — прервал его я. — Гондин, не вы ли первый не поддержали кандидатуру викария в вашей газете?

— Поддержал. Поддержал, понимая, как необходима солидарность в вопросах политики. Но кое с чем я не соглашался. Ногейра здесь и может подтвердить. И если уж говорить откровенно — неумно, что я поддержал.

Мне было неизвестно, что привело Перейру и викария к разногласиям. Я знал только, что падре Силвестре считал необходимым сократить денежную помощь «Крузейро» в сто пятьдесят мильрейсов, которую муниципалитет выплачивал каждый месяц. Однако это кое-кому пришлось не по душе. И вот я, просто так, из чувства противоречия, защищал викария, восхваляя его добродетели и намеренно закрывая глаза на его недостатки:

— Несчастье, да и только! Хороший человек. Мало того, простодушный, доверчивый... робкий.

— Поп! — воскликнул Луис Падилья с презрением.

Он был атеист и стремился к социальным преобразованиям. После того как я его избавил от фазенды, он публично высказывал всякие кровожадные идеи и призывал — конечно, шепотом — к уничтожению буржуазии.

— Сволочь!

И грыз с остервенением ногти.

Сеу Рибейро, уткнувшись в газету, время от времени жестикулируя, негромко высмеивал слог Брито.

— И все-таки я не понимаю, — гнул я свою линию, — какой смысл был подставлять ножку викарию? Он был почти избран, признан, вот-вот должен был приступить к обязанностям и вдруг — на тебе! Все псу под хвост. Зачем?

— Падре Силвестре — революционер, — объяснил мне Жоан Ногейра. — Он сторонник радикальных преобразований насильственными методами.

Я вздрогнул. Казимиру Лопес прикуривал от керосиновой лампы, которую держал в руках. Ярko светила луна. Вдали в ее белом свете виден был край леса, желтели цветы пау-де-арко.

Я встал, сделал знак Жоану Ногейре, и мы подошли с ним к окну.

— Скажите мне, доктор Ногейра, что это за история с Перейрой? Все именно так и есть? — спросил я его тихо.

Жоан Ногейра закурил сигару и ответил, что все так, что сомнений быть не может:

— Губернатор вел себя хитро. Он предложил соглашение, по которому падре входил в совет. Перейра проголосовал за падре, ну и...

— Тогда, доктор Ногейра, — прошептал я еще тише, — думаю, что сейчас самое время ликвидировать наши дела с Перейрой. До сих пор я колебался, выжидая подходящего момента. Понятно, он был шефом. Но теперь, когда он пошел ко дну, конечно. Тем более что здесь сам черт еще не разберется. Я вам передам счета. Надеюсь, вы сумеете все устроить.

— Великолечно, — согласился Жоан Ногейра.

И воодушевился:

— Великолечно. Дайте мне доверенность на ведение дел, вы окажете большую услугу партии, сеу Онорио: прижмете Перейру.

10

По святым дням в наших краях не работают. Куда-нибудь едут, болеют или еще чем другим занимаются — лишь бы побездельничать. Воскресенье, само собой, день потерянный. Суббота тоже — ярмарка. И остается от рабочей недели дней пять, так и эти церковь сокращает. А результат один: заработки — никуда и в животе урчит от голода.

В эти так называемые праздничные дни я никогда не мог найти рабочих рук, чтобы очистить плотину от водяных лилий и прорыть канаву. Тут, услышав разговор Падильи с Казими́ро Лопесом о ягуарах, я отвлекся от своих деловых мыслей.

Нет, где им понять друг друга. Пади́лья — хлюпик, пустомеля, говорит много и все ратует за революционные методы. Казими́ро Лопес хром, двух слов связать не может. Для него учитель начальной школы — царь и бог: ведь он имеет дело с книгами. А это высшая похвала, которую Лопес высказывает, выкатывая глаза и присвистывая. Он зайка. В сертане часами молчит,

а когда бывает доволен, затягивает абойо¹. Словами небогат, вряд ли с полдюжины наберет. За последнее время, слушая чужие разговоры, зазубрил непонятные слова, которые ему понравились, и сыплет ими направо и налево, кстати и некстати. В тот день он, как ни лез из кожи, ничего кроме: «Ягуары — они свирепые, хитрые», сказать не мог.

— Пятнами весь. Зубища — огромные, лапы — огромные, каждый коготь — во! Страх!

Падилья требовал, чтобы Казими́ро Лопес повторил описание ягуара, сказал что-нибудь такое, по его мнению, особенно характерное. Казими́ро Лопес упрямылся. Он просто не умел говорить или, вернее, говорил с трудом, но полный почтения к учености Падильи, описал ягуара, превратив его в никому неизвестного, невиданного зверя.

— Казими́ро, отнесите письмо викарию.

Я написал падре Силвестре, поблагодарил его за заботы о старой Маргариде, которые он взял на себя, обеспечив ее переезд в Сан-Бернардо, надо сказать, нелегкий. Она приехала несколько дней тому назад и теперь жила в домике, вокруг которого росли бананы.

Я отдал письмо Казими́ро Лопесу, взял шляпу и отправился к старухе. Быстро спустился по склону и, проходя плотиной, вспугнул стаю журавлей и турпанов. После обильных дождей уровень воды так сильно поднялся, что разросшиеся водяные лилии того и гляди грозили засорить водосток. Вода, шедшая к хлопкоочистительным машинам и лесопилке, затопила все вокруг. Лесопилка стала, стала и очистительная машина. День пропал.

Маргариду я нашел сидящей на циновке. Согнувшись, она углем что-то чертила на кирпиче.

— Тетушка Маргариде, как вы себя чувствуете?

Узнав меня по голосу, она попыталась выпрямиться и подняла на меня невидящие глаза.

— Оплакиваю свои грехи, сын мой.

Грехи! В прежние времена ее иначе как святой и не называли. Какие же теперь могли быть грехи у этой высохшей, согбенной старухи, не способной ни двигаться, ни соображать? Она была почти слепая и, не видя меня, заговорила со мной все так же наставительно,

¹ А б о й о — тягучая, монотонная песнь пастуха.

как и прежде, когда я был маленьким. Меня это тронуло, я подошел к ней, сел на циновку рядом.

— Тетушка Маргариды, я искал вас очень долго. Я всегда помнил о вас, и найти вас было для меня счастьем. Может быть, вам что-нибудь нужно, не стесняйтесь, говорите.

Она с недоумением посмотрела на стол, стулья, электрическую лампочку и мебель в соседней комнате.

— Для чего эта роскошь? Побереги все это для себя, сгодится. На постели я спать не привыкла. А кто раздает свое добро, может по миру пойти.

— Не говорите так, тетушка Маргариды. Будьте спокойны, спите спокойно. Если выйдут дрова, скажите. Пусть огонь в печке не гаснет, сейчас ночи холодные.

— Да, тепло нужно. Тепло и еда.

Она продолжала что-то чертить. Сгорбленная старуха с дряблой грудью, по которой стучали висевшие у нее на шее белые и голубые четки.

— Мне бы вот кастрюлю. Старую-то украл.

Я вспомнил нашу старую кастрюлю — другой утвари в том домике, где мы жили, не было. Около нее я провел не один год, мыл ее, оттирал песком и золой копать и получал за это еду. Маргариды пользовалась кастрюлей почти всю жизнь. А я, быть может, пользовался и кастрюлей, и добротой Маргариды? Теперь, одряхлев, Маргариды не могла готовить сласти, и эта утварь была ей ни к чему.

— Хорошо, тетушка Маргариды, будет тебе кастрюля, такая же, как та.

11

Однажды я проснулся с мыслями, что пора жениться. Думал я о женитьбе как о необходимости, никакая юбка меня не привлекала. Любовь не занимает меня — вы должны были это заметить, — и женщина мне всегда казалась той редкостной тварью, справиться с которой трудно.

Женщины, конечно, у меня были — Роза Марсиано, например. Ну, что о ней скажешь? Жермана еще была. И другие того же сорта. И всех остальных я считал не лучше. Да и вообще-то к женщинам я был равноду-

шен; если что и волновало меня, так это будущий наследник земель Сан-Бернардо, о нем-то я и думал.

Я попытался представить себе свою будущую жену, высокую, крепкую тридцатилетнюю женщину, обязательно черноволосую. На этом фантазия моя иссякла. Я не способен фантазировать. И все то хорошее, что мне хотелось бы увидеть в женщине, которая мне даст наследника, не создавало образ, а существовало отдельно, само по себе. Я стал думать о знакомых мне дамах: доне Эмилии Мендонсе, Гаме, сестре Азеведо Гондина, доне Марселе, дочери доктора Магальяэнса, судьи.

Но тут и эти дамы исчезли из моих мыслей: я вспомнил, что как-то недавно, вечером, неожиданно подслушал в ризнице (часовня была закончена, оставалось сделать роспись), как Луис Падилья говорил Марсиано и Казимиру Лопесу:

— Присвоение. Это как раз то, что так категорически осуждают философы в своих книгах. Вот, пожалуй, бог знает сколько земли, дома, леса, плотина, скот — и все в руках одного человека. Так быть не должно.

Марсиано, грязный, неотесанный мулат, слушал с удовольствием, переминаясь с ноги на ногу и скаля беззубые десны.

— Сеньор Падилья прав. Я мало чего понимаю, я человек грубый, но когда не спится, тоже думаю о том. Убиваешь себя, работая на хозяина. А? Как думаешь, Казимиру?

Казимиру Лопес сморщил нос и сказал, что все вещи с сотворения мира имели хозяина.

— Какого там хозяина! — закричал Падилья. — Не было хозяина, а был и есть наш труд. Мы работаем для того, чтобы другие богатели.

Я вышел из ризницы и в бешенстве заорал:

— Для чего, для чего, Падилья? Для чего это вы, паразит, лентяй, ничтожество, работаете?

— Да я, сеу Пауло, — стал оправдываться испуганный Падилья, — я просто излагал здесь кое-какие теории.

Обругав обоих как следует, я приказал им собирать свое барахло и убираться ко всем чертям.

— Вон с моей земли! — хрипел я, весь красный. — Чтоб духу вашего здесь не было! Забирайте свой хлам и катитесь на все четыре стороны. С таким учителем

можно далеко уйти. Представляю, чему только этот бессовестный учит!

Потом Падиля, сетуя на себя самого и всячески заискивая, клялся всеми святыми, что в школе он ничего подобного не говорит и что ему не хотелось бы оставить детей без хлеба насущного — без знаний. Что же касается тех теорий, так это он так, чтобы уколоть Казимира да время убить.

— Я очень раскаиваюсь, но, поверьте, я не способен распространять разрушительные идеи.

На следующий день, шмыгая носом, с просительным видом приплелась ко мне Роза со всеми пятью детьми (трое держались за юбку, один — на руках, и еще один — в животе). И я, который рядом с ней не чувствовал себя хозяином, успокоил ее.

— Пришли ко мне этого кобеля Марсиано. Все уладится.

Вечером в столовой я стал читать Марсиано и Падилю длинную нотацию, стараясь доказать, что не они на меня, а я на них работаю. Правда, я очень скоро сбился и удовольствовался тем, что обругал их:

— Неблагодарные дураки!

Они струхнули, а я смягчился.

— Куриные мозги. Что, сели на мель? Дураки.

Мне захотелось по-отечески вразумить их. Но тут, увидев мою отходчивость, Падиля решил поспорить. Я разъярился. Он тут же пошел на попятную. Марсиано весь съежился и старался втянуть голову в плечи. Он напоминал мне черепаху. Падиля грыз ногти.

— Ладно, на этот раз прощаю. Но если услышу еще раз что-нибудь подобное — позову полицию. Тут вам не Россия, слышите? Вон отсюда!

Их как ветром сдуло. А я долгое время не мог успокоиться и уговаривал сам себя:

— Сделай вид, что ничего не случилось, и все! Нечего обращать внимание! Эти дураки много спят и много болтают. Бедняга Марсиано тут ни при чем. Он хорошо ходит за скотиной, да к тому же он муж Розы.

Падилю же мне было приятно унижить — пусть видит, какой образцовый порядок навел я в его бывшей фазенде, какие ввел усовершенствования, пусть завидует.

Я снова погрузился в размышления о моей женитьбе, о которой я уже писал в начале главы. Я перебрал

в уме всех: дочь Мендонсы, Гама, сестра Гондина (я даже не знал ее имени), дона Марсела, дочь доктора Магальяэнса. Дона Марсела была баба что надо. Глаза... Только вот слишком штукатурилась и шепелявила. Ладно, перетерпим. Без недостатков один бог.

Я уже было совсем собрался к доктору Магальяэнсу, когда на меня, можно сказать, свалился Коста Брито — вернее, я получил его письмо, в котором он пытался выудить у меня двести мильрейсов.

Как изменился Коста Брито! Его газета, которая всегда отчаянно хвалила правительство, теперь переметнулась на сторону оппозиции, и все из-за того, что тот, кто стал депутатом штата, был газете неугоден; теперь «Жорнал» считал, что дела государства идут из рук вон плохо, что у власти стоят некомпетентные люди. И мы, которые голосовали за правящую партию, но в крайности не впадали, никому не были нужны. От нас воротили нос, вели себя с нами вызывающе. Черт знает что! И вот, пожалуйста, мой последний визит в столицу и моя ерундовая маленькая заметка встали мне в пятьдесят мильрейсов. Их вынул у меня из кармана в кафе за кружкой пива директор «Жорнал».

— Хотят газету даром. К чертям! Всю жизнь пишешь, как каторжник, лжешь, чтобы ослы вышли в люди! Одни издержки! Бумага ведь денег стоит. А на выборах тебя же и отпихнут. Одно свинство. Какой-нибудь безграмотный префект с легкостью проходит. Хотите похвал?! Нате, выкусите!

Мне не нужен был Брито, но я дал ему денег, помня прежние его услуги, а также потому, что не люблю иметь неприятности с прессой. Потом я намекнул на финансовый кризис и дал понять, что больше он из меня ничего не вытянет.

Но Брито толстокож, как слон: он пренебрег моим предупреждением и продолжал бомбардировать меня письмами сначала с жалобами, потом с требованиями. То письмо, которое сбilo меня с мыслей о женитьбе, содержало угрозы. Я отказался платить, послав телеграмму следующего содержания: «Настаивать бесполезно. С меня хватит».

С какой стати я должен содержать журналиста? Что я ему, отец?

— Кто родил, тот пусть и кормит. Ну, попроси один-два раза, да полюбезнее — пожалуйста. Но угрожать, шантажировать — так дело не пойдет.

В конце концов, что он может мне сделать? Я не государственный чиновник, мои связи с партией ограничиваются вербовкой избирателей, вручением им избирательных бюллетеней, музыкой и фейерверком при встречах губернатора. Яд газеты для меня не опасен. Разве что мои личные дела их могут заинтересовать... Ну, тогда я возьму палку и обломаю ее о бока Брито.

Я подавил в себе раздражение и постарался вновь воскресить в воображении наштукатуренную и шепелявую Марселу. Она появилась. Но все время образ ее ускользал, его заслоняли то Марсиано, то Роза с детьми, то Луис Падила, то Коста Брито.

12

Дело Перейры лежало без движения в нотариальной конторе, дожидаясь подходящего момента, когда судья возьмет и подмахнет его среди множества прочих дел. Это сказал мне однажды вечером Жоан Ногейра. И я, решив сразу убить двух зайцев — дать ход делу Перейры и убедиться в прелестях доны Марселы, — отправился в город нанести визит судье Магальянсу.

Уже смеркалось, когда я вошел в залу, служившую ему кабинетом, и увидел его в обществе дочери и трех гостей: Жоана Ногейры, какой-то сеньоры в черном, худой, высокой и старой, и другой — молодой, хорошенькой блондинки.

Они молчали, разделившись на две группы — в одной были мужчины, в другой — женщины.

Доктор Магальянс был небольшого роста, с крупным носом, в пенсне, за стеклами которого прятались веселые маленькие глазки. Тонкие губы плотно сжаты. И разжимаются они только для того, чтобы дать возможность судье Магальянсу говорить о собственной персоне. А начав говорить, он остановиться не может.

Но в тот момент, когда я вошел, все разговаривали молча: дона Марсела улыбалась блондинке, которая, в свою очередь, улыбалась доне Марселе, показывая свои безупречно белые зубки. Невольно я сравнил ту и

другую, и целесообразность моего визита упала на пятьдесят процентов.

Я отбросил мысли о Марселе и всецело занялся судьей: мне очень хотелось найти в нем какую-нибудь черточку, говорящую о его профессии.

Доктор Магальяэнс провел рукой по лбу и спросил:

— Какие газеты сеньор выписывает?

Я ответил, что выписываю журналы по сельскому хозяйству, партийный листок, «Крузейро» и «Жорнал». Я похвалил Азеведо Гондина и напустился на Брито:

— Каков наглец, а?

Доктор Магальяэнс уклонился от ответа. Жоан Ногейра подошел к полке с книгами, взял одну из них, сел и углубился в чтение.

С другого конца залы послышались приглушенные смешки.

Делать мне решительно было нечего, и я стал размышлять. Нет, жить вне женского общества трудно. Хотя если мужчина и женщина сближаются, то почти всегда в результате полового влечения. Наверное, поэтому столько злословят даже тогда, когда между ними ничего нет. Если я обращаюсь к даме, она пугается и на лице ее смущение, но если она разговаривает со мной без волнения, кто-нибудь обязательно сочтет, что дело нечисто.

— Как давно вы были в кинематографе в последний раз? — спросила громко сеньора в черном.

— Дней пятнадцать назад, донна Глория, — ответила Марсела. — Думается, пятнадцать. Папа, когда мы были в кино?

Судья Магальяэнс подсчитал. Он вытащил из кармана сигарету, разделил ее на две части, сделал из одной тонкую сигарету и закурил.

— Две недели назад.

— Ну вот, пятнадцать дней.

— Нет, — запротестовал судья, — две недели. Ты заблуждаешься.

— Пятнадцать дней — разве это не две недели?

— Нет, две недели — это четырнадцать дней.

Дона Марсела не сдавалась.

— Всегда слышала, что две недели — это пятнадцать дней.

— Я тоже слышал, — доверительно сказал Магальяэнс. — И слышал много раз. Но это неправда. Одна

неделя — это семь дней. Семь да семь — четырнадцать. Ну? Так, значит, четырнадцать!

Жоан Ногейра отложил в сторону книгу.

— Возможно, донна Марсела считала с днем, когда была в кино?

— Возможно, — уступил Магальяэнс. — Не считая этого дня, будет четырнадцать.

— Но если считать, будет пятнадцать! — закричала Марсела.

— Лучше не считать — посоветовал Магальяэнс.

Все оживились, блондинка привстала, собираясь распрощаться.

— Еще рано, — удержала ее Марсела.

Сеньора в черном завела разговор о недавно прочитанных романах. Марсела как раз закончила какой-то приключенческий роман. Я поинтересовался содержанием. Она было открыла рот, но так как не помнила даже имен героев, молчаливо потупилась. Потом она снова открыла рот, но сказала лишь:

— Роман, донна Глория, интересный, очень интересный.

— Я не люблю романов, — сказал доктор Магальяэнс. — Когда-то, правда, я их перелистывал, но теперь и этого не делаю. Пустая трата времени. Я судья, только судья, вот так-то!

Донна Марсела наконец вспомнила содержание и начала его пересказывать. Сеньора Глория слушала. Блондинка сидела рядом, склонив голову, положив руку на руку. Красивые руки, красивая голова.

— Когда я веду дело, — снова заговорил судья Магальяэнс, — для меня больше ничего не существует, никаких сантиментов я не признаю.

— Именно это я утверждал вчера, беседуя с доктором Ногейрой, — вмешался я.

Доктор Магальяэнс поблагодарил меня.

— Чтобы вести себя так, надо быть независимым. Я независим. И ни в ком не нуждаюсь. Что они могут мне сделать?

Я не знаю, кого имел в виду судья Магальяэнс, но в этот момент Жоан Ногейра тронул его за плечо и что-то шепнул на ухо. Я понял, что он решил поговорить о деле Перейры. Я встал, отошел в сторону, чтобы не смущать неподкупного судью и немного размяться. Подошел к окну, закурил трубку.

Дона Марсела заканчивала пересказ романа. Заметив, что Ногейра удовлетворен разговором с судьей, я невольно прикусил зубами трубку и потерял руки:

— Очень хорошо. Ну, а что вы скажете, сеньоры, о списке кандидатов от нашей партии? Я не знаю будущих кандидатов, но думаю, среди них есть два-три, у которых язык подвешен как следует.

— Сеньор верит во все это? — спросил Жоан Ногейра.

— Во что?

— В выборы, в депутатов, в сенаторов.

Я смешался, так как твердого мнения по этому вопросу не имею.

— Привыкаешь к тому, что видишь. Ну и я, с тех пор как себя помню, вижу урны и избирателей. Привык. Иногда обходятся без урн и без избирателей: ограничиваются списками. А все-таки хорошо, когда избиратель верит, что от него что-то зависит, что он может повлиять на ход событий, на правительство. Пусть смешно, но все-таки это что-то. У меня в фазенде всяк, кто трудится, верит, что, если он оставит лопату, работа станет и хозяйство придет в упадок. Я поддерживаю эти иллюзии, и все довольны.

Спустя какое-то время Жоан Ногейра сказал:

— Я считаю, что ни депутаты, ни сенаторы не нужны, и едят они много, слишком много.

Я хотел вставить словцо, но заметил, что судья чувствует себя не в своей тарелке. Я замер, слово застряло у меня в горле. Магальяэс поборол неловкость, и какое-то время мы играли в молчанку, выжидая, кто первый заговорит. Между тем блондиночка внимательно смотрела на нас большими синими глазами.

В это самое мгновение я понял, что эта маленькая женщина — полная противоположность тому образу, который я рисовал в своем воображении, — мне больше по вкусу. Она мне явно нравилась, черт побери. Маленькая, слабенькая, не то что Марсела: грудастая, толстозадая и загибок как у быка.

Поскольку все молчали, я возразил Жоану Ногейре, но слова мои были адресованы блондиночке:

— Да, бесполезные вещи существуют, и мы их часто с любовью храним. Вот, к примеру, эта трубка. Она не только не полезна, а даже вредна.

Я набил трубку.

— По правде говоря, я до конца не уверен в том, что она вредна. Может, и наоборот — полезна. Поэтому я и принимаю участие в выборах. Думаю, что и сеньор не хочет, чтобы воцарилось беззаконие.

Судья Магальянс, которому законы давали хлеб насущный, возмущенно произнес:

— О!!!

— Нет, не хочу, конечно, — снова сказал Жоан Ногейра. — Но законы, которые издает конгресс, никуда не годятся. Было бы неплохо покончить с конгрессом. Законы должны издавать юристы.

— А-а-а... — облегченно вздохнул Магальянс.

Законы или декреты — с того самого момента, как они по всей форме зафиксированы на бумаге, — один черт. Он положил ногу на ногу, покачивая головой, оттопырил губу и поднял палец:

— В чем мы нуждаемся — так это в элите.

— Вот именно, — подхватил Ногейра, — в олигархии.

Но Магальянс настаивал на своем:

— Нет! В элите!

— Почему в элите? — спросил Ногейра. — Элиту мы имеем в правительственных кругах. А нам нужна олигархия.

— Но ведь оппозиция только и делает, что кричит в газетах и на митингах об олигархии. Разве не так? — спросил я.

— Оппозиция не ведает, что творит. Какая у нас олигархия? Кучка проныр, рвущихся к власти. Это конгрессмены, министры, президенты, губернаторы, секретари, политиканы-южане. Сколько зубов на одну косточку, а? И какой сброд! Посмотрите на наших представителей в федеральном конгрессе. Ну, что скажете, доктор Магальянс?

Доктор Магальянс немного помедлил с ответом.

— Я держусь в стороне от политики. Я судья, только судья. Меня интересуют законы и книги, в которых они записаны. Я встаю рано, выпиваю чашечку кофе, маленькую. Бреюсь, принимаю ванну. Потом гуляю по саду, возвращаюсь, листаю журналы и завтракаю — немного, из-за желудка. Часок отдыхаю, пишу, даю консультации. Обедаю, совершаю прогулку в город,

вечером принимаю друзей; когда же они уходят, ложусь спать.

Дона Глория не удержалась от замечания:

— И правильно делаете: необходимо следить за своим здоровьем.

Жоан Ногейра выразительно хмыкнул.

— Без сомнения, здоровье прежде всего. Однако, как мы говорим, олигархии у нас нет, но тех, кто греет руки, — предостаточно.

— Вот-вот! И если оппозиция кричит сейчас, когда там, наверху, проныр предостаточно, то вообразите, что будет, когда их станет меньше. Крику будет не меньше, а больше.

— Почему?

— Потому что многие, кто сейчас наверху, будут внизу, и недовольных станет больше.

Судья подошел к окну, и я шепотом спросил Ногейру:

— Ну, обещал он подмахнуть?..

Жоан Ногейра утвердительно кивнул.

Я поспешил откланяться.

— Не согласен я с вами, доктор Ногейра, нет. В нашем государстве совсем не так плохо. Справедливость — наше главное достояние. Сами подумайте.

— Я опять повторяю, что я только судья, — сказал Магальяэнс. — Когда мне что-нибудь неясно, я беру книги и справляюсь у достойных авторов.

Я подождал, пока он закончит, еще раз попрощался и вышел.

Под впечатлением, которое произвели на меня глаза блондинки, и в надежде, что случай поможет узнать ее имя, я как дурак бродил по городу. Но случай не представлялся. Тогда я решил поговорить с Жоаном Ногейрой. Я был уверен, что он знает, как ее зовут, из какой она семьи и обо всем остальном, что необходимо знать, чтобы не совершить оплошности. В десять часов я отправился в редакцию «Крузейро», но там был только наборщик Архимедес. Я заглянул в бильярдную Соузы — там тоже, кроме одного подвыпившего завсегдатя, никого не было.

— Доктор Ногейра должен быть у Эрнестины.

Я не знал, где она живет. Уже к полуночи я нашел адвоката в гостинице. Они с Азеведо Гондином спори-

ли о поэзии. Битый час я слушал спор, пытаюсь что-нибудь понять, но тщетно.

— Доктор Ногейра, можно вас на одну минуту? Извините, Гондин.

Однако деликатность вопроса, страх показаться смешным да еще подозрение, что Ногейра сам не прочь приволокнуться за блондиночкой, заставили меня заговорить совсем о другом — я попросил Ногейру посвятить меня в подробности процесса Перейры.

13

Вскоре я снова увидел молоденькую блондинку. Это случилось в тот день, когда я возвращался из столицы, куда был вынужден отправиться из-за этого бессовестного Брито.

А дело было так. После моей телеграммы (помните ту телеграмму, в которой я отказался дать этому бандиту двести мильрейсов), «Журнал» принялся поливать меня грязью. Вначале это были желчные пасквилы с разными намеками, затем открытая атака: в двух злобных статьях иначе как убийцей — самое ласковое имя — меня не называли. Когда я прочел эту подлую пактотню, я вооружился плеткой и решил отправиться в город.

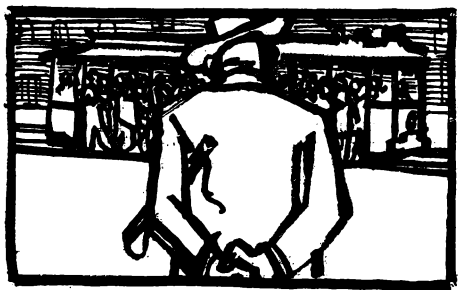
— Вы должны подать в суд на Брито, — сказал Жоан Ногейра. — Его легко посадить за решетку.

— Если хотите себя защитить, «Крузейро» к вашим услугам, — заметил Гондин. — Напишите либо сами, либо я, либо Ногейра. Беда только, что «Крузейро» редко выходит. Но все-таки на «Крузейро» мы можем рассчитывать, и я к вашим услугам.

— Благодарю, Гондин. Благодарю, Ногейра. Потом подумаем, как быть. Не стоит ломать голову по пустякам.

И мы до одиннадцати играли на мелочь в домино. На завтра я сел в поезд и поехал в город. Как только он тронулся, меня свалил сон, и проснулся я только в десять утра, когда поезд подошел к Центральному вокзалу. Выйдя из вагона, я внимательно стал всматриваться в прохожих. Под мышкой у меня была плетка.

Я пошел вверх по улице Комерсио, свернул на улицу Ливраменто, потом вышел на улицу Алегрии и



остановился против здания «Жорнал». Какое-то время я постоял у ограды, глядя на грязные ящики во дворе, зашел внутрь, прошел через наборный цех, через печатный и очутился в редакции. Здесь желтолицый парнишка вырезал телеграммы из вечерних ресифских газет.

— Директор поехал в Пажусару.

— Спасибо.

Я вернулся той же дорогой и битый час на остановке трамвая изучал пассажиров, прибывающих из Понта-да-Терры. Наконец появилась физиономия этой крысы Брито.

— Ола!

Он отступил назад, хотел вскочить на подножку, но трамвай уже тронулся. Приняв независимый вид, Брито пошел на меня, но тут же, заметив плетку, остановился, побледнел и стал заискивающе мямлить:

— Счастлив вас видеть. Какая удача! Да, сеньор, нам необходимо поговорить.

Я схватил его, прижал к столбу и сказал тихо, почти шепотом, чтобы не пугать прохожих:

— Ну, сукин сын! Твои статьи...

— Чего не сделаешь ради денег, — оправдывался Брито. — Это же не в редакционной статье, вы же видели! Пойдемте в редакцию, там будет удобнее разговаривать. Я вам все объясню.

В ответ я схватил его за шиворот и несколько раз ударил плеткой. Тут стали останавливаться прохожие,

кричать, возмущаться. Засвистел полицейский. Коста Брито удалось вырваться, и он побежал по улице Комерсио.

Я отправился в гостиницу, но только собрался пообедать, как меня вызвали в полицию. Там меня буквально засыпали вопросами, я опоздал на трехчасовой поезд, но доказать полицейскому комиссару, что он тупица и брюзга, так и не сумел. Тогда, усталый и измученный, я обратился к адвокату (триста мильрейсов, кроме всяких мелких трат на такси, чаевые и прочее), и двадцать четыре часа спустя я двинулся в обратный путь. Когда я сел в поезд, у меня в ушах все еще звучала нравоучительная речь комиссара полиции о том, что я покушаюсь на свободу прессы, и другие сказанные им глупости.

В вагоне я купил свежие газеты. О происшедшем не было ни строки. Типш да гладь! Я увлекся статьей о разведении пчел и очень скоро забыл и либеральные нравоучения комиссара, и тупость полицейского. Поостыв немного, я признался самому себе, что сердце у Брито все-таки доброе и вряд ли он теперь напишет обо мне какую-нибудь пакость. Я углубился в чтение. Да, действительно, пчелы — это настоящий источник богатства.

И тут рядом со мной села женщина в черном. Так как солнце слепило ее, я задернул занавеску.

— Очень вам признательна.

Вглядевшись, я узнал ее: это она месяц назад в гостях у Магальяэнса так внимательно слушала Марселу, которая пересказывала прочитанный роман.

— Не за что, дона Глория.

Я обратил внимание, что пакет, который она держала на своих острых коленях, того и гляди разорвется, и, предложив свои услуги, тут же положил его рядом с моим багажом. Дона Глория была из тех незаметных старушек, которые всегда всем улыбаются и всеми силами стараются скрыть свою бедность. Поезд отошел от станции. Между нами завязалась довольно оживленная беседа, и мы скоро сделались друзьями.

— Этот «Грейт Вестерн»¹ никуда не годен. Дрянь. Безобразие просто. Что за вагон! Свинарник!

¹ «Грейт Вестерн» — английская железнодорожная компания.

Именно так я начал обычный дорожный разговор. Дона Глория испугалась, как бы кто из служащих дороги не подслушал, и доверительно сообщила, что вагоны действительно неважные.

— Никудышные, дона Глория.

Она внимательно и с уважением посмотрела на меня.

— Мне кажется, что мы где-то с вами встречались. Никак не могу припомнить где. Память — моя беда.

— В доме судьи, в прошлом месяце. Вы были с молоденькой блондинкой...

Глаза ее округлились.

— Ах, да!

На этом разговор наш прервался. Чтобы начать его снова, я взял газету и ткнул пальцем:

— Вот здесь пишут о разведении пчел. Автор, видно, человек знающий.

Она не поняла. Помолчав немного, она громко сказала:

— Теперь я вспомнила. Сеньор был вместе с Ногейрой, и спор шел о политике.

— Вот-вот.

Опять замолчали.

— Сеньор живет в столице?

— Нет, в провинции.

— В Висозе?

— Да.

— Какое-то время я там тоже жила. Но город маленький... Ужасно, не правда ли?

— Маленький город? Ужасно? А большой? Тоже ничего хорошего! Города вообще ужасны. Я люблю деревню, понимаете? Деревню!

Лицо донны Глории сделалось непроницаемым.

— Лес? Господи боже мой! Но в лесу же звери? А сеньор живет в лесу?

— В Сан-Бернардо.

Дона Глория не знала Сан-Бернардо, и это меня обидело, так как Сан-Бернардо было для меня самым замечательным местом в мире.

— Фазенда что надо. Там вода не чета той, что вы пьете здесь. Тут грязь, а там, сеньора, там удобно, чисто.

Дона Глория выпрямилась, поборол робость и заговорила громче:

— Нет, это не по мне. Я родилась в городе, выросла в городе. Без города я — как рыба без воды. Больше того, я даже хлопотала о переводе в столичную школу. Но нужна протекция. Обещают...

— Так вы учительница?

— Нет, учительница моя племянница.

— Та самая девушка, которая была с вами у Магальяэнса?

— Да.

— Как же зовут вашу племянницу, донна Глория?

— Мадалена. Видите ли, она получила прекрасное образование.

— Обождите-ка, так, так! Значит, это о ней говорили Ногейра и Гондин. Образованная, красивая женщина. Совершенно верно. Больше всех о ней говорил Гондин из «Крузейро», такой курносый.

— Я знаю.

И она, улыбаясь, выслушала хвалы, воздаваемые своей племяннице.

— И вот такой девушке жить в такой дыре, сеу...

— Я Пауло Онорио, донна Глория. Очень жаль. Конечно, учить азбуке — занятие хуже не придумаешь. Простите мою нескромность, сколько же она зарабатывает своими «бе-а-ба»?

Донна Глория понизила голос, чтобы сообщить мне, что на первых порах учителя получают всего лишь сто восемьдесят мильрейсов.

— Сколько?

— Сто восемьдесят мильрейсов.

— Сто восемьдесят мильрейсов? Вот те на! Беда просто. Как, черт возьми, христианину жить на сто восемьдесят мильрейсов? Знаете, что я вам скажу? Меня бесит одно сознание, что достойный человек живет в такой нищете. У меня безграмотные батраки получают больше. Почему же вы не посоветуете своей племяннице бросить это дело?

Донна Глория принялась рассказывать мне, как трудно найти работу, и о том, что с учительского жалования еще нужно платить страховку — для пенсии.

— Что за страховка?! Ерунда! Найти работу... Я скажу вашей племяннице, как можно заработать, и заработать хорошо. Разводите кур.

Донна Глория обиделась, а сидящий рядом пассажир, поскольку, воодушевившись, я почти кричал,

принялся хохотать. Это был молодой человек с маленькими усиками и докторским кольцом¹ на пальце. Я приблизил к нему свое заросшее щетиной лицо и волосатый палец.

— Не вижу причины для смеха, молодой человек! Диплом-то у вас есть, но что он вам дает? Если у вас нет богатого папы, то вы самое большее — прокурор. Лучше было бы разводить кур.

Молодой человек смутился.

— Великолепное занятие, донна Глория, вполне благородное занятие. Если решитесь, то лучшей породы, чем орпингтон, нет! Школа? Пустое! Я открыл школу у себя в Сан-Бернардо и все поручил Падалье. Знаете, кто он такой? Идиот! Но он говорит, что в школе дела идут неплохо. Очень может быть. Гондин и отец Силвестре были там, спрашивали мелкоту и пришли к выводу, что все в порядке.

Дона Глория поморщилась, но тут же поспешила согнать гримасу с лица.

— Каждый живет как умеет.

— Вот те на! Приезжайте-ка ко мне в Сан-Бернардо. Я покажу вам, что такое хозяйствовать на земле. Уверен, и у вас руки зачесутся.

Конечно, разговор наш я вряд ли сумел передать точно, слово в слово. Да и было все не совсем так. Мы то молчали, то, не понимая друг друга, повторяли одно и то же, и каждый старался убедить собеседника в своей правоте. Я не следил за словами, которые слетали с моего языка, и, уж конечно, не думал, что все это будет изложено мной на бумаге. Вот почему я пишу только то, что, мне кажется, должно заинтересовать читателя. Кое-что я опустил, кое-что изменил. Например, с дипломированным молодым человеком я разговаривал дольше и резче, а здесь я привел только выжимки. Мигрень донны Глории (она страдала ею большую часть пути) вообще испарилась с этих страниц. Переписывая, я опустил кое-какие глупости, сказанные мною и доной Глорией. Немало их и осталось: одни случайно, а другие я считаю достойными внимания. Приняв решение пожертвовать кое-чем в расска-

¹ Докторское кольцо — символ ученой степени, которая в Бразилии присваивается тем, кто окончил высшее учебное заведение.

зе, я хотел только одного — сохранить главное, ради чего я пишу. Вот, к примеру: когда я прижал Коста Брито к столбу, я сказал ему несколько слов. Но к чему они здесь, удары плетки и без них были крепкими. Я и опустил их. И если кто-нибудь перечитает те страницы, где я описываю эту сцену, он не найдет никаких непристойных выражений и поставит мою сдержанность мне в заслугу.

Еще я опустил пейзаж, а жалы! Пейзаж произвел бы впечатление. Явный промах. Из моего рассказа непонятно, где происходил разговор с доной Глорией. Может, на луне?! Но все это потому, что занавеска на окне была задернута и я видел пейзаж только мельком в другие окна. Часть железнодорожной станции, кусок леса, заводы и плантации сахарного тростника. Очень много плантаций, но этим я не интересуюсь. Видел также молодых бычков зебу, которые, по моему мнению, скоро испортят наше стадо.

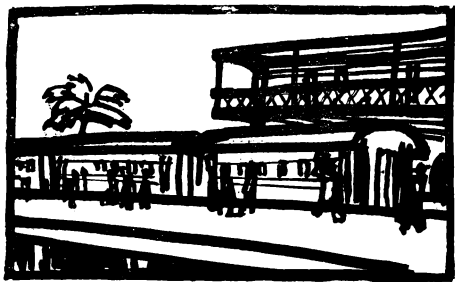
Сейчас я уже не так четко представляю себе, что мелькало в окнах. И если бы я попытался все описать, то, боюсь, спутал бы кокосовые пальмы у озер, которые пробежали за окном в три часа с четвертью, с теми манговыми деревьями и деревьями кажуэйро, которые я видел позже. И все эти описания были бы в моем романе ни к селу ни к городу. Не умею я писать по всем правилам. Обязательно сделаю что-нибудь не так. Видно, это как раз тот случай. Пожалуй, эту главу следовало бы разделить на две. И тогда в одной из них я мог бы дать пейзаж, который видел из окна вагона. Однако в том, что целую главу я посвящу Мадалене, у меня нет сомнений.

14

На станции донна Глория познакомила меня со своей племянницей, которая пришла ее встречать. Я смутился и, подавая Мадалене руку, выронил один из двух пакетов, которые собирался поручить носильщику.

— Очень рад. Я уже знаю, как вас зовут, сеньора. И мы даже встречались с вами. Но я не предполагал, что вы — это вы. Несколько дней тому назад...

— Месяц.



— Совершенно верно. Я уже говорил об этом с вашей тетей, отличная попутчица. Мы очень приятно провели время.

Я направился к гостинице, а так как им было по дороге, мы пошли вместе.

— Дона Марсела говорила мне, что у вас прекрасное имение,— начала Мадалена.

— Прекрасное? Я как-то не замечал. Очень может быть. Я стараюсь, чтобы все было в исправности.

И я замолк, откровенно сказать, смутившись. До сих пор мои чувства были просты, примитивно просты, и не было смысла скрывать их, например, перед Жерманой или Розой. С ними можно было не церемониться. Они ничему не удивлялись. Но сеньора с педагогическим образованием — совсем другое дело. Внезапно я остановился и сосчитал пакеты, которые носильщик нес на голове. Преодолев смущение, я, как мог любезнее, обратился к доне Глории:

— Так приглашение в силе, сеньора! Надеюсь, вы исполните ваше обещание и проведете несколько дней на моей фазенде. Берите с собой вашу племянницу. Я пришлю автомобиль, и вы за десять минут доберетесь до Сан-Бернардо.

Дона Глория промолчала. А Мадалена испуганно сказала:

— Ах, нет!

— Почему? Сейчас ведь каникулы...

— Прогулки... это для богатых. — И, улыбаясь, добавила: — Что скажет ваша семья, если сеньор пригласит двух незнакомых женщин к себе домой?

Тут испугался я:

— Но у меня нет семьи, сеньора, никогда не было! С божьей помощью, я живу один.

— Тогда еще хуже, — ответила Мадалена.

— Это неприлично, — заявила дона Глория.

Я поскреб подбородок.

— Очень жаль. Вы могли бы хорошо отдохнуть на воздухе — это полезно для здоровья. Но молчу. Раз это неприлично, будем считать, что я ничего не предлагал.

Но спустя какое-то время я все-таки спросил:

— Но почему неприлично? Я очень хочу показать доне Глории несколько пекинских турпанов. Это же красота — глаз не оторвать. Вы видели их, дона Мадалена?

— Нет.

— Ну вот! — укоризненно сказал я. — Учатся всю жизнь не знаю для чего.

— Может быть, вы зайдете к нам передохнуть немного? — предложила дона Глория.

Мы были на Канафистуле, возле их дома.

— Благодарю, моя гостиница совсем рядом. — Я помедлил еще с минуту: — Да, сеньоры, район этот, прямо скажем, не лучший. Если надумаете приехать в Сан-Бернардо, предупредите. Я пришлю автомобиль.

— Очень признательны, — сказала дона Глория. — Благодарю вас за компанию.

— Не за что.

В гостинице я первым делом принял ванну — надо было смыть копоть и пот — и уже сидел за столом, когда пришли Жоан Ногейра, Азеведо Гондин и падре Силвестре.

— Так что же произошло? — спросил Азеведо Гондин. — Мы вчера вечером узнали...

— Вообразите, как мы испугались, — добавил падре Силвестре. — Какой скандал! Конечно, Брито повел себя некрасиво, но...

— Некрасиво... Деньги потребовались! Вообще-то он не так плох. Хотел получить двести мильрейсов, а я не захотел дать, заупрямился. И напрасно! Я потратил все шестьсот, не считая двухдневной мороки. Беда-то

в том, что, дай я ему эти двести мильрейсов, он попросил бы еще двести, и так без конца.

— Вчера слух прошел, что Брито в больнице с ножевой раной, — сказал падре Силвестре. — Говорили, что при смерти. К счастью, все обошлось. Раны пустяковые, не так ли?

— Какие раны? Поносили друг друга как могли. Брито наговорил мне гадостей, я ему тоже. Собрался народ, вмешалась полиция, хотя дело было не ее ума. Только и всего.

— Я так и понял, — обрадовался падре Силвестре. — Такой осторожный человек, как вы, не станет впутываться в историю.

— Вот это да! — крикнул Азеведо Гондин. — А я написал два столбца по поводу этого дела для воскресного номера.

Жоан Негейра подошел ко мне и шепнул на ухо:

— Ну, а как все-таки, если начистоту, что было?

— Ну, ссора — и все, ерунда. — И, воспользовавшись случаем, я спросил: — Доктор Негейра, кто такая донна Глория?

— Тетка учительницы?

— Да. Что это за семья?

— В каком смысле?

— Во всех, — ответил я уклончиво. — Старуха ехала со мной в поезде. Симпатичная.

— Так что вас интересует?

— А вот то, что старуха не прямо, а вскользь сказала, что очень хотела бы перевести свою племянницу на работу в столичную школу. Я не знаю заведующего отделом народного образования, но я в хороших отношениях с Силвейрой, который занимается делами школ. Не так уж трудно добиться перевода — если человек заслуживает, конечно.

— Но это прекрасная учительница, сеу Пауло, и очень приятная женщина. Вы хотите, чтобы она уехала? Это была бы такая потеря! Ведь если она уедет, знаете, что будет? Сюда приплут какую-нибудь старуху неграмотную.

— Вы правы. Как насчет ужина? — громко сказал я.

Все поблагодарили и стали прощаться. Падре Силвестре обнял меня.

— Вам, конечно, все это неприятно... Но во всем виноват Брито. Вспыльчив, раздражителен, и все же «Журнал» последнее время ведет себя пристойнее.

Я пошел проводить их.

— Гондин, я хотел бы поговорить с вами.

Он остановился.

— Только я умираю с голоду, Гондин. Двое суток почти не ел! Каково? Может быть, все-таки поужинаем вместе?

От ужина он отказался, но согласился выпить пива. Когда подали десерт, Гондин принимался за третью бутылку.

— Гондин, вы как-то говорили мне об учительнице.

— О Мадалене?

— Да. Я познакомился с ней, и она мне понравилась. Порядочная девушка, верно?

Азеведо Гондин открывал уже четвертую бутылку, но, услышав имя Мадалены, рассыпался в похвалах:

— Превосходная женщина! А какие статьи пишет для «Крузейро»!

Меня это огорчило:

— И она тоже пишет?

— Да, и превосходные статьи! Очень образованная женщина. А что вы хотели?

— Да как вам сказать, я... Кое-что надумал, но, если она сотрудничает в «Крузейро», это меняет дело. Я считал, что она благоразумна.

— Разумеется, благоразумна,— выпалил Гондин, уязвленный.— Почему вы сомневаетесь?

— Хорошо. От вас у меня нет секретов. Слушайте. Мне надоел Падилья.

— Что, он опять напился вдребезги?

— Хуже. Он хочет установить на моей фазенде социализм. Я случайно услышал, как он разглагольствовал о своих идеях. Я вначале не придавал значения всей этой чепухе и оставил его, но потом, подумав, решил, что лучше будет подыскать ему работу где-нибудь на стороне.

— И вы хотите пригласить на его место Мадалену?

— Да, именно Мадалену. Если, конечно, она порядочная женщина.

— Порядочная женщина?! Это бесспорно. Но согласится ли она жить в захолустье — вот вопрос.

— Это все выдумки ее тетки, старой дуры. Но если сама она, как ты говоришь, благоразумна, то согласится.

Азеведо Гондин жевал жареные земляные орешки и запивал их пивом.

— А может быть, и согласится. Для нее это выгодно. Жалованье увеличится...

— Разумеется.

— Ну что же, может быть, может быть. Мне только жаль несчастного Падилюю.

— Несчастный? Я же вам сказал, что найду ему работу. А вот насчет Мадалены...

— Вы уже договорились с ней?

— Конечно, нет. Если бы я договорился, зачем бы я стал с вами советоваться? Гондин, окажите мне любезность, поговорите с ней... Для этого я и просил вас остаться. Разузнайте ее намерения.

Азеведо Гондин, почувствовав, что в нем нуждаются, решил набить себе цену:

— Но я с ней мало знаком. Поговорите сами...

— Нет, это невозможно. Мое хозяйство уже два дня без присмотра. Сегодня я непременно должен быть в Сан-Бернардо. И не умею я говорить с этими людьми, с ними особое обхождение нужно. Уговорите ее, Гондин, сделайте любезность.

— Ну ладно. Обрисую ей все прелести сельской природы, расскажу о поэзии деревенской жизни и простоте народной души. А если этого будет недостаточно, затрону ее патриотические чувства.

15

Почему-то сразу, как только я пригласил дону Глорию и ее племянницу к себе, я почувствовал, что они обе стали мне близки. Мадалена долго не решалась принять приглашение. И я зачастил к ним в дом на Канафистуле, якобы для того, чтобы узнать, когда они собираются приехать. Однажды в разговоре я попытался намекнуть доне Глории:

— Почему ваша племянница не ищет себе мужа? Она оскорбилась:

— Моя племянница — девушка честная, ей не пришло...

— Я совсем не о том, сеньора. Упаси боже. Это всего лишь дружеский совет. Я думаю, ей надо обеспечить свое будущее.

Дона Глория выпрямилась, впавшая грудь ее совсем исчезла. Черное поношенное платье обтянуло живот и повисло на плечах. Приняв гордый, независимый вид, дона Глория процедила сквозь зубы что-то невнятное. Потом, спустя несколько минут, она приняла прежнее положение. Поношенное черное платье последовало примеру хозяйки. Речь доны Глории стала снова понятной:

— Замужество для женщины — это положение...

— Разумеется, дона Глория. И для здоровья полезно.

— А сколько несчастных браков! Кроме того, брак не должен совершаться по принуждению.

— Да, так-то оно так. Только ведь и деловая сторона вопроса немаловажна. Нельзя доверяться одним чувствам. Ну кто может быть уверен, что делает правильный выбор?

— Я думаю, что в супружестве прежде всего важна взаимная любовь.

— При чем тут взаимная любовь! Если супружеская пара хорошая, дети тоже будут хорошие, если плохая — дети будут никуда не годные. От желания родителей тут ничего не зависит. Я это знаю по учебнику зоотехники.

После этого разговора я безвыездно провел две недели в Сан-Бернардо — собирали хлопок. Не раз я вспоминал наш разговор. Очень может быть, что дона Глория не удержалась, распустила язык. Что же, интересно, она наговорила своей племяннице? Я очень боялся, что меня больше не примут в этом доме из-за моих советов, но Мадалена меня приняла, и радушно:

— Как ваше хозяйство?

— Идет своим чередом — надеюсь, что урожай будет неплохой. Впрочем, сейчас еще нельзя сказать наверняка. А что у вас в школе? Как дети, как дона Глория, все в порядке? Рад. Ну, а мое хозяйство... Почти уверен, оно вас не интересуется, и пришел я, надо сказать, по делу.

— Вы имеете в виду предложение, которое вы сделали мне через Гондина?

Я заколебался:



— И да, и нет.

— Я, кажется, уже говорила, что не согласна.

— Какого дьявола! Но послушайте, вы у меня будете получать гораздо больше.

— Нет, все равно. Я здесь уже шесть лет учительствую. Положение у меня прочное... Я не могу отказаться от него: ведь частные школы то открываются, то закрываются.

Я не удержался от комплимента:

— Приветствую благоразумие. Действительно, сеньора рисковала бы остаться на мели.

— Если вы признаете...

— Признаю. И хочу сделать вам новое предложение. Если говорить начистоту, то школа была лишь поводом, чтобы познакомиться поближе.

Мадалена ждала очень серьезно, сдвинув брови.

— То, что я хочу сказать, очень трудно сказать. Вы должны понять меня... Ну да ладно, нечего тянуть, скажу все как есть.

Чтобы справиться с волнением, я откашлялся и начал:

— Так вот. Я решил выбрать себе жену. И так как сеньора мне подходит... Да, вы мне понравились еще тогда, когда я вас в первый раз увидел...

Я запнулся. Серьезная, бледная Мадалена стояла молча, но, как мне показалось, поражена не была.

— Я знаю, я совсем не тот идеал мужчины... что у вас на уме.

Она остановила меня, подняв тонкую руку с длинными красивыми пальцами.

— Не в этом дело. Дело в том, что мы не знаем друг друга.

— Вот те на! Разве я вам ничего о себе не рассказывал? А то, что не рассказывал, значит, и не нужно. Сеньора, по всему видно, да и все говорят, рассудительна, экономна. У вас все на месте, и вы можете быть хорошей матерью семейства.

Мадалена подошла к окну и какое-то время, облокотившись на подоконник, смотрела на улицу. Когда она обернулась, я шагнул по комнате, набивая трубку.

— Мы очень разные люди.

— Разные? Ну и что? Если бы мы не были разными, так нас было бы не два существа, а одно. Ну, разные. С вашего разрешения я закурю трубку. Вам знакомы всякие школьные премудрости, я знаю кое-что другое, над чем поломал голову порядком. Мне сорок пять. Вам около двадцати.

— Нет, мне двадцать семь.

— Двадцать семь? Никто не даст вам. Ну и что? Значит, по возрасту мы поближе друг к другу. Наша добрая воля — и через неделю мы в церкви.

— Ваше предложение очень заманчиво, сеу Пауло, — прошептала Мадалена. — Очень. Но надо подумать. В любом случае я благодарна вам, слышите? Я ведь бедна, как Иов, вы знаете?

— Не говорите об этом. А образование, а вы сами? Что, это разве ничего не стоит? Хотите знать правду? Если мы придем к согласию, в выигрыше буду я, а не вы.

16

Как-то вечером, неделю спустя, я был в гостях у донь Глории и Мадалены, пил кофе, разговаривал, очень довольный собой. Вдруг в комнату вошел — надо сказать, запросто — Азеведо Гондин и совсем неожиданно ляпнул:

— А! Вы здесь! Я пришел поздравить дону Мадалену. Очень рад и вас тут видеть. Мои поздравления.

— Это что еще такое? — спросил я, пораженный.

— Да я о свадьбе, — объяснил он. — Все об этом говорят, а вы молчите. Когда же?

Я не ответил. Мадалена считала стежки на вышивке. Дона Глория застыла с чашкой в руке. У меня было желание свернуть Гондину шею. Он, правда, уже понял, что ляпнул некстати, и, прислонившись к стене, скреб подбородок. Я встал, подошел к окну, стараясь скрыть смущение. Гондин последовал за мной. Я проворчал:

— Ты пьян?

— Я не считал это секретом. Все знают.

— Идиот.

Я снова сел. Уши у меня горели. Я схватил газету и стал читать статью о больнице и «Литературно-увеселительном кружке». Надо сказать, он влачил жалкое существование. В библиотеке шкафы, переполненные молю, открывались лишь раз в год, когда сменялось руководство.

— Какую пользу приносит все это?

Азеведо Гондин сел и спустя некоторое время, успокоившись, ответил:

— Этот кружок приносит пользу, сеу Пауло.

— Враки. Больница — да. Но библиотека в этой дыре! Для кого? Для Ногейры, чтобы он раз в месяц мог брать какую-нибудь книжонку! Ох уж эта злополучная литература!

Азеведо Гондин всегда кружился вокруг своих вечных идей.

— О, образование необходимо. Образование — ключ к жизни, не правда ли, дона Мадалена?

— Кто привык читать книги...

— И даже тот, кто не привык, — прервал я. — Не нужно путать образование с чтением всего, что напечатано.

— Результат-то... — сказал Гондин.

— Ничего подобного.

— И как это можно стать образованным без книг?

— Ну, видя, слыша, путешествуя. Вот, например, Ногейра считал себя чертовски образованным, а не умел допрашивать свидетелей. Сейчас он забыл латынь, но стал хорошим адвокатом.

— Между тем вы находите, что больница нужна, и книги по сельскому хозяйству не выбрасываете.

— Это другое дело. Я считаю, что врачи больше учатся, когда режут брюхо или работают над трупами, чем по книгам. Я же в свободное время читаю заметки

опытных людей. И не очень им верю, я больше себе верю, чем другим. Ведь эти сочинители не знакомы близко ни с моими людьми, ни с землями Сан-Бернардо.

Мадалена покачала головой:

— Что верно, то верно. Однако мы не привыкли мыслить подобным образом. На днях я посмотрела фильм, и я уверена, что основная идея изложена в нем гораздо понятнее, чем если бы она была преподнесена в романе. Не говоря уже об экономии времени.

— И не забывая голову всякой чертовщиной, — добавил я. — Ты, Гондин, глотаешь всякую дрянь. А я вот уверен, что идею иного толстеного тома можно выразить в четырех строках.

Дона Глория клевала носом. Раздраженный и усталый Гондин пожал плечами:

— Для меня книги нужны, полезны. Если сеньор считает их ненужными, вероятно, на то у него есть свои соображения.

— Я говорил о ненужности «Литературно-увеселительного кружка»!

— Хуже всего то, что ненужное для вас многим даже очень нужно, — сказала Мадалена.

— Без сомнения. Красота, например, — восторжествовал Азеведо Гондин. — Это-то уж как-нибудь нужно. Красота, гармония, а?

— К черту!

Дона Глория поднялась и вышла. Вопрос был исчерпан, мы молчали. Гондин безуспешно старался поддерживать разговор:

— Какая пыль, а? Все северо-западный ветер.

Вскоре и он ушел.

Я воспрянул духом и подошел к Мадалене:

— Слышали? Уже все болтают о свадьбе. И только о свадьбе и болтают, как говорит Гондин.

Ответа не последовало.

— Пожалуй, мне бывать здесь не стоит. Прежде всего потому, что я не хочу причинять вам неприятности, да я и смешон, наверно. Сеньора, должно быть, уже все обдумала.

Мадалена отложила вышиванье.

— Мне казалось, что мы понимаем друг друга. Я всегда хотела жить в деревне, рано вставать, ухаживать за садом. У вас есть сад? Но почему же не

повременить немного? Если быть откровенной, я не чувствую к вам любви.

— Вот те на! Если бы сеньора сказала, что влюблена в меня, я бы не поверил. Мне не нравятся люди, которые влюбляются и слепо принимают решение. Особенно такое решение. Назначим день.

— Зачем так спешить? Может быть, через год... Я должна подготовиться.

— Через год? То, что можно отложить на год, можно не делать вовсе. За чем дело стало? Белое платье мы сошьем за двадцать четыре часа.

Услышав шаги в коридоре, я понизил голос:

— Сообщим вашей тете, а?

Мадалена улыбнулась в нерешительности.

— Хорошо.

— Ну, скучная дискуссия закончена? — спросила дона Глория, появляясь на пороге. — Я просто чуть не заснула.

— И я! Виновник — Гондин, у него всякие сумасбродные идеи.

Я хотел по всем правилам попросить руки Мадалены, но смутился и не знал, что и как сказать:

— Дона Глория, сообщаю вам, что я и ваша племянница через неделю соединимся. Вернее сказать, поженимся. Сеньора, ясное дело, будет жить с нами. Там, где едят двое, могут есть и трое. Дом большой, углов много.

Дона Глория расплакалась.

17

Венчал нас падре Силвестре перед алтарем святого Петра в часовне Сан-Бернардо.

Стоял январь. Распустившиеся цветы пау-де-арко¹ обрызгали желтым цветом весь лес; с утра дымились горы, после проливных дождей переполненный ручей, громко журча и подпрыгивая, нес свои воды в реку и, разливаясь у плотины, покрывался белоснежным кружевом пены.

Когда дона Глория увидела, что в Сан-Бернардо есть электричество, телефон, мебель, металлическая посуда, которую Мария дас Дорес песком надраивала

до блеска, она согласилась, что жизнь здесь вполне сносная.

— А я что говорил?

Я предложил ей комнату в левом крыле, за конторой, с окном на красную кирпичную часовню. Сейчас стена ее позеленела от дождей, но тогда она была новая, цвета свежего мяса, ярко-красная. Мы с Мадаленой поселились в комнате направо, и с нашей веранды мы могли видеть хлопковые поля, луг, очистительную машину, лесопилку и дорогу, которая, огибая холм, уходила вдаль.

— Начинаем новую жизнь, не так ли? — весело сказала Мадалена.

И с этой минуты я стал каждый день открывать в ней что-нибудь новое, что меня бесконечно удивляло. Как вы знаете, мне вполне нравилось ее лицо и меня устраивало то небольшое, что я смог о ней узнать.

Целую неделю я следил за тем, как я говорю, но не сумел, конечно, быть на высоте. Какой смысл? Решил плюнуть. Мадалену несколько это не смущало. Я воображал ее куклой, простой школьной куклой, но ошибся.

Ее раздражал Падилья, о котором она сказала, что у него «низкая душа». (Тут я ей объяснил, что его душа меня не интересует. От тех, кто у меня служит, мне нужен их труд — все остальное меня не касается.) Ее раздражал Падилья. А вот Рибейро ей понравился. Она сидела в конторе, читала книги, изучала документацию, даже починила испорченную пишущую машинку. И дня через два после свадьбы, еще не совсем освоившись, отправилась в поле и разорвала платье о колючки. В обеденный час я нашел ее у хлопкоочистительной машины, она разговаривала с механиком.

— Ну и ну! Вот это жена!

Я посоветовал ей не подвергать себя опасности:

— Рабочие — народ грубый, как бы чего не вышло. Хочешь работать — подумаем, чем тебе заняться. Вот можно помогать по дому Марии дас Дорес. А пашня, рабочие и все остальное — дело мужское.

— Работа Марии дас Дорес меня не прельщает. А без дела я сидеть не привыкла.

— Это только поначалу.



— Да, и еще,— продолжала Мадалена.— Семья Каэтано очень нуждается.

— Уже познакомилась с Каэтано? — спросил я удивленно.— Нуждается? Старая песня! Честно говоря, я в нем уже не нуждаюсь. Мог бы и на стороне подработать.

— Больной-то...

— Надо было откладывать на черный день. Они все такие — не задумываются. А чуть заболеют — давай деньги, лекарства. Так я лишусь прибыли.

— Но он же много работал. И он так стар!

— Скажите пожалуйста, много. Сил лишился. Он ведь только рычаг подводит под камень и зовет землекопов, чтобы его передвинуть. За это и шесть мильрейсов платить не стоит. Ну, да ладно. Отправь ему что нужно: муки и несколько килограммов фасоли. Деньги на ветер!

18

— Распрекраснейшая разбирается и в бухгалтерии,— объявил сеу Рибейро.

Сеу Рибейро жил на моей fazende, работал у меня в конторе, но меня не любил. Думаю, что он никого не любил. Он весь был в прошлом, только и вспоминал то местечко, которое превратилось в город и где полвека назад была хлопкоочистительная машина, четки, мас-

ляные светильники да игры и пляски в Иванову ночь. В свои семьдесят с лишним лет он все еще предпочитал ходить пешком по тропинкам. Телефоном пользовался неохотно. Он ненавидел время, до которого ему довелось дожить, и уходил от него, укрываясь за старомодными манерами и изысканной речью. Остатки душевного тепла он отдавал теперь толстым бухгалтерским книгам с кожаными уголками и корешками. Он с любовью делал в них сложнейшие записи, и пятнадцать минут ему было достаточно, чтобы большими, чуть дрожащими, но красиво выписанными заглавными буквами начать новую запись.

— Хорошо разбирается в бухгалтерии,— продолжал он.— И хотя я не совсем согласен с методами, которые она превозносит, признаю, что она сможет вести записи при желании заняться этими делами.

— Благодарю вас.

— Да за что же? Распрекраснейшая знает дело, да и почерк у нее каллиграфический. Я уже развалина. Не сегодня-завтра...— Он подыскивал слова: — Бог приберет и меня.

— А, вечно эти разговоры,— проворчал Падилья.— Глядишь, нас переживете.

Падилья надеялся когда-нибудь совместить работу преподавателя и бухгалтера. И выказывал явное нетерпение.

— Я протяну недолго, плох я,— продолжал Рибейро.— Хочется умереть спокойно, зная, что книги эти не попадут в небрежные руки.

— Да что в них особенного,— бормотал Падилья.

— В бухгалтерии нелегко разбираться. Вот распрекраснейшая сеньора Мадалена...

— Очаровательно! Дона Мадалена — бухгалтер,— сказал Падилья.

— Ничего не вижу в этом удивительного,— отрезала Мадалена.— Видит бог, я не хочу... Сеу Рибейро вполне справляется...

— Все мы смертны, милая сеньора. Никто не может знать, что ему уготовано, но в моем возрасте...

— Сколько вы получаете?

— Вот это да,— изумился Падилья.— Сеньора будет заниматься этими пустяками и еще получать жалованье. Это же все равно что перекладывать из правой руки в левую.

— А почему бы нет? Если сеу Рибейро хочет уйти на отдых. Сколько же вы зарабатываете, сеу Рибейро? Бухгалтер погладил свои бакенбарды.

— Двести мильрейсов.

Мадалена нахмурилась.

— Так мало?

— Почему мало?

Меня даже затрясло.

— Очень мало.

— Бред какой-то! Когда он работал у Косты Брито, он зарабатывал всего сто пятьдесят мильрейсов. А у меня он зарабатывает двести. Да еще стол и чистое белье.

— Да-да, все верно, — подтвердил сеу Рибейро. — У меня все есть, и мне достаточно того, что я получаю.

— Если бы вы имели десять человек детей, вам бы не хватало, — сказала Мадалена.

— Конечно, — согласилась донна Глория.

— Чуть-собачья! — закричал я. — И вы туда же? Читайте свои книжки.

Мадалена побледнела.

— Не нужно так сердиться. Каждый может иметь свое мнение.

— Разумеется. Но глупо иметь мнение о том, в чем ты ничего не смыслишь. Каждому свое. И какого черта! Я ведь не лезу в дискуссии о грамматике. В своих делах я сам как-нибудь разберусь. И будет лучше, если никто в них лезть не будет. Вы меня выводите из терпения.

Я бросил салфетку на тарелку и, не дожидаясь десерта, встал из-за стола. Всего восемь дней после свадьбы, и на тебе. Ссора! Плохое начало. Но я все свалил на дону Глорию, хотя она сказала одно-единственное слово.

19

Я понял, что Мадалена была слишком добра, но это, пожалуй, все, что я в ней понял. Она мало-помалу открывалась мне, но не до конца. Виноват был я, но еще больше виновата была жизнь, тяжелая и грубая, сделавшая грубой мою душу.

Но раз так, то выходит, я попусту трачу время. В самом деле, если я не в силах обрисовать характер

моей жены, то к чему эта писанина? Ни к чему, и все же что-то понуждает меня писать.

Под стрекот цикад я сажусь за стол здесь, в столовой, пью кофе, раскуриваю трубку. Бывает, что в голову ничего не приходит, бывает, от мыслей отбоя нет, а лист бумаги так и остается наполовину исписанным, как был накануне. Перечитываю строчки, которые мне не нравятся. Не стоит труда их переделывать. Откладываю лист в сторону.

Чувства, мне самому непонятные, тревожат меня: какое-то ужасное нетерпение, бешеное желание вернуть все назад и снова разговаривать с Мадаленой, как мы говорили с ней каждый день в эти часы. Тоска? Нет, нет, не тоска! Отчаяние, ярость, невыносимый груз на сердце.

Все силюсь вспомнить, о чем мы говорили. И не могу. То, что говорил я, были слова, и только: ими я, как умел, обозначал какие-то вещи и события. А в словах Мадалены всегда было что-то мне недоступное, чего я и сейчас не в силах выразить. А тогда, стараясь лучше понять ее слова, я гасил свет, и тьма обволакивала нас, и наши фигуры становились неразличимы в темноте.

За окном переругивались жабы, выл ветер, чернели сплошной массой фруктовые деревья.

— Казимиро!

Казимиро Лопес караулил в саду, сидя под окном на корточках.

— Казимиро!

Казимиро Лопес появляется в окне, бурчат жабы, ветер сотрясает еле видимые во мраке деревья. Входит Мария дас Дорес и хочет включить свет. Я удерживаю ее: свет не нужен.

Тиканье часов заглушается стрекотом цикад. И Мадалена возникает у края стола. Я шепчу:

— Мадалена!

Ее голос достигает моих ушей. Нет, нет, не ушей. Так же, как я ее вижу не глазами.

Я сию опершись на стол. Вещи тают в темноте, я уже не различаю даже белую скатерть.

— Мадалена!

Но голос Мадалены продолжает убаюкивать меня. Что она говорит? Конечно, она просит послать немного денег мастеру Казтано. Это меня бесит, но бесит как-то

иначе, это застарелая ярость, и по виду я спокоен. Похоже на помешательство: как может человек в одно и то же время злиться и оставаться спокойным? Но со мной именно так. Я злюсь только на него. На Каэтано. Его счастье, что он уже помер, а то я все равно заставил бы его работать. Лодырь!

Скатерть выплывает из темноты, но я уже не понимаю, та ли это скатерть, в которую уперлись мои локти, или та, что была здесь на столе пять лет тому назад.

Вой ветра, бурчанье жаб, стрекот цикад. Дверь конторы осторожно открывается, и я слышу, как, удаляясь, звучат шаги сеу Рибейро. Сова ухает на часовне. Она ухает на самом деле или мне чудится? Может, та самая сова, что была здесь два года назад? Тогда тоже ухала сова.

Теперь я слышу, как сеу Рибейро разговаривает с доной Глорией в гостиной. Значит, напрасно я думаю, что их здесь нет и дом почти опустел.

— Казими́ро!

Вроде бы я позвал Казими́ро Лопеса. Его голова в кожаной шапке, какую носят жители сертана, время от времени показывается в окне, но я не знаю, вижу ли я его взаправду, или он является мне из прошлого.

Несовместимые чувства борются во мне: гнев и нежность. Я что есть силы ударяю кулаком по столу и еле удерживаюсь от слез.

Это внутри. Снаружи я по-прежнему спокоен: руки на скатерти и пальцы застыли как каменные. А между тем я грожу Мадалене кулаком. Невероятно.

В привычных шумах фазенды вдруг возникают новые звуки. Мария дас Дорес на кухне чему-то обучает попугая. Тубаран рычит в глубине сада. В хлеву ревет скот.

Гостиная в другом конце дома; чтобы попасть в нее, нужно пройти длинный коридор. И все же я отчетливо слышу разговор сеу Рибейро с доной Глорией. Но я не мог бы описать этот разговор. Потому что они разговаривают без слов.

Пади́лья свистит под навесом. Где-то он сейчас?

Если бы я тогда убедил Мадалену, что она не права... Если бы смог ей внушить, что нам с ней нужно жить в мире... Не понимала она меня. Не понимали мы

друг друга. Все всегда случается не так, как мы ожидаем. Нелепость.

Мертвая тишина. Сейчас июль. Северо-восточный ветер больше не дует, и жабы спят. Сову Марсиано пришиб палкой, поднявшись на часовню. И дыры, где жили цикады, все заделаны.

Но все это продолжает меня терзать.

Чего я не слышу, так это тиканья часов. Который час? В таких потемках разве разглядишь, что там на циферблате. Когда я раньше сидел так, стук маятника был слышен, очень отчетливо был слышен. Надо бы подтянуть у часов гирю, да нет сил сдвинуться с места.

20

Как я уже сказал, у Мадалены было слишком доброе сердце. Ее доброта и нежность даже меня заставляли расчувствоваться. А я, как известно, не из чувствительных. Правда, последние два года я как-то сам себя не узнаю. Но это пройдет.

Доброта Мадалены поражала меня. Как она была добра! Потом я понял, что ее доброта ко мне — лишь остатки той доброты, которую она распространяла на всех. Все равно. Мне не должны были перепадать даже эти остатки — не стоил я такой роскоши. Какое-то время мы жили очень дружно.

Возвратимся к тому, что я выскочил из-за стола, взбешенный доной Глорией. Не прошло и нескольких минут, как Мадалена принесла мне чашку кофе, и весь ее вид говорил о том, что она раскаивается.

— Зачем болтать попусту?

— Да-да, ты прав,— пробормотала Мадалена, заливаясь краской,— это было необдуманно.

— Надо думать, прежде чем открывать рот.

— Да-да, я совсем забыла, что здесь служащие, не следовало при них говорить такие вещи. Ах, как нехорошо вышло!

Смягчившись, я принялся за кофе:

— Ну ничего, ничего. Я погорячился. Просто нам трудно понять друг друга. Дай-ка мне сахару. Трудно понять — вот и все. Я попробую объяснить. Здесь не так, как там, в городе. Кино, кафе, гости, лотерея, бильярд и всякая чертовщина — у нас эгого ничего



нет, и потому порой приходит в голову: а на что тратить деньги? Так вот, хочешь я тебе скажу? Когда я начал все это, у меня была сотня мильрейсов, да и те чужие. Всего сотня мильрейсов, так-то, милая сеньора. Но она растянулась будто резиновая. Все, что у нас есть, пошло с той сотни мильрейсов, которую мне одолжил мошенник Перейра. Да еще заломил с меня как самый подлый ростовщик — пять процентов в месяц.

Мадалена слушала меня внимательно, согласно кивая, как примерная девочка.

— Я понимаю, понимаю. Все дело в том, что я еще не привыкла к здешним порядкам. Мне надо освоиться.

Я кликнул Казимира Лопеса, велел ему унести чашку и поднос. Потом закурил трубку.

— Очень сожалею...

Я поднялся.

— Не надо ни о чем жалеть. Что было, то прошло. А надутая физиономия никого не украшает. Я накричал на дону Глорию...

— Бедняжка! Она ведь не очень вникает в суть разговора. Просто говорит, чтобы поговорить.

— На черта такие разговоры. Все же втолкуй ей, что, мол, я никак не хотел ее обидеть. Старая, почтенная женщина... Мол, никак не хотел. Я вел себя как болван.

Как видите, мы оба размягчились, словно переспелые бананы. И целый месяц жили душа в душу. По ее просьбе я подыскал ей занятие:

— Займись деловой перепиской. Хочешь, будешь получать жалованье. Ну, хорошо, потом мы это уладим. Сеу Рибейро откроет тебе счет.

21

Но после, хоть мы и очень старались и не жалели цемента, чтобы заливать им всякого рода трещины, между нами все равно возникла размолвка, а потом это случилось все чаще и чаще.

Утром Мадалена работала в конторе, а по вечерам вместо прогулки обходила хижины батраков. Толстогубы, покрытые струпьями детишки цеплялись за ее юбку.

Она побывала в школе, нашла, что Падилья — никуда не годный учитель, и долго надоедала мне просьбами купить глобус, карты и тому подобную дребедень, которую я здесь не перечисляю, потому как для этого пришлось бы ворошить школьный архив. Наконец, толком не посмотрев, я подмахнул заказ. Когда я получил счет, меня прямо затрясло. Вот это да: шесть конто! Шесть конто за тетрадки, учебники и грифельные доски для батрацких детей! Вы только посчитайте. Этакие деньжища угрохать — и кто платит? Тот, кто сам грамоте выучился в тюрьме, читая по складам листки с куплетами, дешевые книжонки и Библию в черном переплете. Но все же я тогда сдержался. Сдержался, потому что не хотел ссориться с женой и надеялся поразить этими расходами губернатора, когда он снова навестит мою фазенду. Но все равно: так сорить моими деньгами!

Я подписал счет, надел шляпу и вышел. Проходя мимо хлева, я увидел, что скоту не задан корм.

— Вот еще новости!

Окликнул работника. Никто не отозвался. Взбешенный, я спустился по откосу вниз. Там, у дверей школы, я нашел Марсиано, который, оседлав табурет, болтал с Падильей.

— Так-то ты надрываешься на работе, бесстыжие твои глаза!

— Да я уже всю работу сделал, сеу Пауло, — мямлил Марсиано, отворачиваясь.

— Что, что ты сделал?

— Сделал, сеньор, все сделал. Провалиться мне на этом месте, если не сделал.



— Совсем заврался. Скотина с голоду подыхает, некормленная.

Тут Марсиано вдруг прямо заорал на меня:

— Да ведь только что кормушки были полнехоньки! Разве ж видано, чтоб скотина столько жрала? У кого хочешь терпенье лопнет. То и дело подкладываешь, подкладываешь, ни днем ни ночью покоя нет.

Оно так и было, но ни разу еще ни один батрак не осмеливался говорить со мной подобным образом.

— Ты, я вижу, сам отменная скотина, так я тебя научу, как надо отвечать хозяину!

И я сбил его с ног хорошей затрещиной.

Оглушенный, он стал подниматься, но получил очередную затрещину, и еще те, оставшиеся, что ему причитались. И снова растянулся в пыли. Наконец Марсиано встал и побрел, опустив голову, спотыкаясь и вытирая рукавом текущую из носу кровь. Я перевел дух и посмотрел на Падилю:

— А виноваты во всем вы.

— Я?

— Да-да, вы, ведь это вы вашими бредовыми листками забиваете голову этому лодырю.

Падиля побледнел и стал оправдываться:

— Да нет, ничем я ему не забивал голову, сеу Пауло. Напрасно вы так говорите. Он сам мне навязался, поверьте. Я его не звал, напротив, уговаривал его: «Марсиано, надо тебе пойти задать корм скоту». Но он меня не послушался, вот и получил. Ей-богу, он мне

самому надоел до смерти и никогда я его не жаловал, этого парня.

Я хотел было прервать этот поток вранья подходящим ругательством, но тут увидел Мадалену, которая, стоя у плотины, наблюдала за ковылявшим Марсиано. Я двинулся ей навстречу, ворча:

— Вот наглец! Дай ему палец, он всю руку откусит!

Но ярость моя уже утихла. Теперь меня заботили ящики со школьными пособиями: кому нужна такая роскошь в нашем захолустье? Губернатор будет рад, если из нашей школы выйдут хоть несколько человек, способных пройти избирательный ценз.

— Вышла погулять? — обратился я к Мадалене, не отрывавшей взгляда от темной крыши хлева.

Она мне не ответила. Я обвел взглядом место водопоя, безводное русло реки за водостоком, и дальше, на склоне горы, каменоломню, — отсюда она белела едва различимым пятном. Заросли уже одевались вечерней тенью. Подул холодный ветер. Хлопкоочистительную машину загрузили последними тюками хлопка. Раздался долгожданный свисток, и рабочий день кончился. Я взглянул на часы: ровно шесть.

— Это ужасно! — вдруг закричала Мадалена.

— Что?

— Ужасно! — повторила она.

— Что ужасно-то?

— То, что ты сделал! Какое варварство!

Ну, еще не легче.

— Этому нет названия!

Что она, бредит, что ли? Да нет, лицо серьезное, губы сжаты, брови нахмурены.

— Не понимаю. Объясни, о чем ты?

Она, возмущенная, прерывающимся голосом:

— Как можно так безжалостно обходиться с людьми!

— Ах, вот оно что. Ты про Марсиано. А я думал, и вправду что случилось. Даже испугался.

Тогда у меня и в мыслях не было, что из-за такого незначительного происшествия у разумных людей может выйти раздор.

— Так избить человека! Какой ужас!

Я все не верил, что она может так негодовать из-за такой малости.

— Да брось ты! Не делай из мухи слона. Этот народ выполняет все, что ему прикажут, но только из-под палки. И к тому же — ну какой Марсиано человек?

— Почему же он не человек?

— А я знаю? Видно, так господь распорядился. Он просто тряпка.

— Ах, вот как! А ты, конечно, предназначен богом повелевать такими, как Марсиано?

— Да дело не во мне! — закричал я, начиная злиться. — Когда я его в первый раз увидел, он уже был такой.

— Немудрено. Если с ним всю жизнь так обращались.

— А, как с ним ни обращайся, все едино: раз он родился тряпкой, так ею и останется.

Мадалена замолчала и стала молча подыматься по склону. Я, тоже молча, направился следом за ней. Вдруг она обернулась — голубые глаза ее сверкали и сделались почти черными, голос от волнения звучал хрипло:

— Но ведь это жестоко. Зачем ты так поступил? Тут уж мое терпение лопнуло:

— Я так поступил, потому что должен был так поступить. И у меня нет привычки обсуждать с кем бы то ни было свои поступки, понятно? Раз я так поступил — значит, так надо было. Подумаешь, какое событие: метису отвесил пару затрепчин! И какого черта ты так печешься об этом Марсиано, что, у тебя с ним пашни, что ли?

22

Дона Глория обожала беседовать с сеу Рибейро. Беседы их продолжались бесконечно и велись на два тона: он говорил громко и смотрел прямо перед собой, а она в ответ что-то шептала и все время оглядывалась по сторонам. Завидев меня, дона Глория тут же замолкала.

Мне было нетрудно разгадать все эти ужимки доны Глории. Я был батраком и помню, как часто мы, подневольный люд, в недолгие часы отдыха перемывали косточки своим хозяевам. А у доны Глории теперь вся ее жизнь была сплошным отдыхом.

Она спала, завтракала, обедала, ужинала, читала романы в тени апельсиновых деревьев и изводила Марию дас Дорес, которая, как ни старалась, не могла ей угодить. Доне Глории беспрестанно что-нибудь мешало: то ей мешали крысы, то жабы, то змеи, то темнота. При мне она напускала на себя вид жертвы. Она не уставала нахваливать городскую жизнь, к месту и не к месту. Большую часть дня она просиживала в конторе.

Сеу Рибейро именовал ее «превосходнейшая» (Мадалена была у него «распрекраснейшая»). Кое-какие слова доны Глории, ее жесты и красноречивость ее молчания навели меня на мысль, что в контору дона Глория ходит оплакивать судьбу своей племянницы. Там она садилась у письменного стола, за которым работали Мадалена и сеу Рибейро, и заговорила с ними нескончаемые разговоры.

Мадалена стучала на машинке. Сеу Рибейро дрожащей рукой выводил свои записи в книгах, то и дело отвлекаясь в поисках то линейки, то резинки, то пузырька с клеем, и не мог их отыскать, потому что дона Глория имела привычку, разговаривая, все переставлять у него на столе. Меня все это злило чертовски, но я старался ничего не замечать, быстро и сухо отдавал распоряжения и спешил покинуть контору, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не разразиться бранью. Но однажды я взорвался. Четвертого числа все еще не был подведен баланс за предыдущий месяц.

— Что вы так задержались, сеу Рибейро? Вы нездоровы?

Старик, огорченный, поскреб свои бакенбарды:

— Нет, сеньор. Почему-то у меня баланс никак не сходится. Со вчерашнего дня сверяю, никак не могу обнаружить ошибку.

— Что же вам мешает?

Он молчал.

— Я прошу вас, сеу Рибейро, повесить на дверь конторы объявление, что посторонним вход в контору воспрещается. Здесь люди работают. Напишите объявление большими буквами. Всем посторонним, понятно? Без исключения.

— И мне тоже? — проговорила дона Глория возмущенно.

— Повесьте объявление, сеу Рибейро.

— Мне тоже нельзя сюда входить? — повторила дона Глория более просительным тоном.

— И вам, уважаемая сеньора, как и всем остальным. Если я говорю: без исключения — значит, без исключения.

— Но я прихожу поговорить с моей племянницей, — пробормотала дона Глория, съеживаясь под моим строгим взглядом.

— Ваша племянница не может принимать гостей в конторе: здесь она такая же служащая, как и все другие.

— Я не знала. Я не думала, что могу помешать.

— И напрасно не думали. Никто не в состоянии писать, считать и разговаривать в одно и то же время.

Дона Глория направилась к выходу через всю комнату: обогнув письменный стол, она прошла вдоль стены и, дойдя до дверей, открыла их и неслышно закрыла за собой. Я сел за стол и принялся сверять счета с записями в бухгалтерской книге. Сеу Рибейро предложил помочь мне.

— Благодарю.

Сеу Рибейро вооружился перочинным ножом, линейкой и листом бумаги. Мадалена встала из-за машинки, закрыла ее, отдала мне перепечатанные письма, подождала, пока я их прочел, и удалилась. Я подписал письма и вложил их в конверты.

— Ну, сеу Рибейро, о чем здесь сплетничала дона Глория?

— Зачем так говорить, — возразил бухгалтер, — у доны Глории золотое сердце, и от нее можно услышать много полезного, но я, по чести говоря, слушаю ее не слишком внимательно.

Мне стало неловко выпрашивать у этого достойного человека о всяких рассказах доны Глории.

— Превосходнейшая сеньора, — настаивал сеу Рибейро, разлиновывая карандашом лист бумаги.

— Отчасти.

Я поднялся.

— Не допускайте вторжений.

— Слушаюсь, — ответил сеу Рибейро.

В гостиной я наткнулся на Мадалену, которая плакала, лежа на софе. При виде меня она быстро вытерла слезы:

— Зачем так грубо оскорблять людей?

Мадалена ждала ребенка, и я смотрел на нее, как на хрупкий сосуд. Теперь она часто обрушивалась на меня с разными попреками, но я делал вид, что все это пустяки. Ее беременность была уже здорово заметна. И это было главное. Я присел возле нее и заговорил как можно мягче:

— Да, на самом деле вышло грубо. Но по необходимости. Приходится быть грубым.

— Кто ж это тебя заставляет? — усмехнулась Мадалена.

— Ну вот, ты уже начинаешь язвить. Будь добра, без этих штучек. Ненавижу всякие подкусыванья. Со мной надо попросту: так, мол, и так — и все тут. А разные там намеки ни к чему.

— О каких намеках речь? Я сразу сказала, что ты был груб.

— По необходимости.

— Не было никакой необходимости. Просто ты не любишь тетю.

— Я? При чем тут люблю или не люблю? Я надеялся, что она найдет себе здесь какое-нибудь дело. Да, кстати, тебе надо бросить печатать на машинке. В твоём положении это вредно. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо.

— Все равно, несколько месяцев до родов и несколько месяцев после ты не должна работать.

— Благодарю.

— Так вот, как я тебе уже сказал, я надеялся, что твоя тетя захочет хоть чем-то заняться. Я даже раз ей это посоветовал, но она изволила обидеться. Живет бездельницей, читает всякий вздор. И черт с ней. Не это меня выводит из себя, а то, что она мешает работать другим.

— Послушай, Пауло, — сквозь слезы проговорила Мадалена. — Ты заблуждаешься! Ты не прав, я тебя уверяю, ты не прав. Тетя — человек редких достоинств.

— Конечно, у нее есть свои достоинства. Но что проку-то в ее достоинствах?

Мадалена прервала меня:

— Я не знаю никого, кто был бы занят больше, чем дона Глория.

— Вот те раз! — я даже вскочил от возмущения.

— Ты уходишь?

По правде говоря, вскочил я не совсем от возмущения. Скорее потому, что по утрам у меня был обычай обходить свои угодья. В ту минуту думал я, конечно, совсем о другом, но дона Глория и Мадалена уже задержали меня на целый час, и я вскочил, повинувшись своей каждодневной привычке,— впрочем, я понял это, только когда вскочил.

— Пойдем вместе?

Мадалена пошла со мной и по дороге заговорила снова:

— Ты мне рассказывал, что детство твое прошло в бедности.

— Еще в какой! Первое, что про себя помню, как был поводырем у слепого. Потом продавал сласти — их делала старая Маргаридида. Да я тебе уже рассказывал.

— Да, тебе много пришлось бороться. Но поверь, дона Глория в своей жизни потрудилась не меньше твоего.

— Интересно. Что же это она, такое сделала?

— Она вырастила меня, заботилась обо мне, дала мне образование.

— И все?

— А ты находишь, что этого мало? Значит, ты просто не понимаешь, какой это труд. Потруднее, чем приобрести Сан-Бернардо. И дона Глория никогда бы не променяла меня на Сан-Бернардо.

Да и нелегко было бы променять: школьных учительниц пруд пруди, а такое имение, как Сан-Бернардо, надо еще поискать.

— Зачем все эти сравнения?

— Мы снимали жилье у фехтовальщика. У нас было всего два стула. Если кто-нибудь приходил, дона Глория садилась на бачок для керосина. В крошечной столовой, за столом, придвинутым к стене — у него одна ножка была сломана, — я занималась. Много лет. По ночам я, насколько можно было, привертывала в лампе свет, чтобы уходило меньше керосину. Дона Глория сидела в кухне, там она плакала и расточала неведомо кому свои упреки и жалобы. Привычка говорить шепотом и ходить на цыпочках у нее с той поры. Спали мы на одной узкой постели. Если я заболела, дона Глория всю ночь просиживала на стуле, а когда сон одолевал ее, она засыпала прямо на полу.

Мадалена замолчала. Вздохнув, я воскликнул:

— Черт побери! Ты тоже, я смотрю,хватила лиха!

— Болеть она себе не позволяла,— продолжала Мадалена.— Я уходила в школу, а дона Глория, накинув шаль, шла добывать нам на жизнь. Она бралась за любую работу. Она была знакома со всеми священниками в округе и делала для церкви цветы, приводила в порядок церковные бумаги, украшала алтари. Ее знали и судейские чиновники — для них дона Глория копировала судебные постановления. По вечерам она продавала билеты в кино. А соседу-булочнику, не знавшему грамоты, вела счета. Работать ей приходилось много, но все по мелочам, и платили ей гроши.

— Да, это все надо понять,— пробормотал я рассеянно, следя за стадом молодняка на пастбище.

Мадалена прервала меня:

— А когда наступали экзамены, дона Глория, бывало, всех экзаменаторов обойдет. И бога, и людей умиловит: лишь бы я на экзаменах не провалилась. Дона Глория — неутомимая труженица. Но она не любит заниматься все время одним и тем же: по ее характеру, пусть будет работы по горло, да только разной. Потому-то она здесь и не находит себе места. Здесь ведь нельзя продавать билеты в кино, переписывать судебные постановления, подбирать по порядку свидетельства о крещении или вести счета булочника. Здесь дона Глория видит одни машины и людей, которые работают как машины. Все же она и тут старается быть полезной: в здешней часовне она тоже украшает алтарь цветами и наводит чистоту в ризнице, даже стряпать пробовала, да не поладила с Марией дас Дорес. И сеу Рибейро она предлагала свою помощь, а я учила ее печатать на машинке.

Мимо нас в сторону лесопилки проехал грузовик, из рощи доносились гулкие удары топора, запряженные волами возы скрипели по дороге в Бон-Сусесо.

— Вот и не к чему так разбрасываться и попусту тратить силы. Человек должен уметь делать что-то одно.

— Но разве дона Глория могла преуспеть в любом из своих занятий — хоть в продаже билетов, хоть в подборке свидетельств о крещении, даже если бы она и достигла в этом совершенства? Ведь все равно она получала бы гроши.

— Чего ж она не искала работы повыгоднее?

— Где ее найдешь! Кроме того, кто-то должен про-
давать билеты в кино и переписывать судебные поста-
новления.

Я замолчал — но отнюдь не проникся симпатией к
бедной доне Глории. Про себя я по-прежнему считал ее
старой сплетницей и бездельницей: что из того, что она
работала, если так ничего и не заработала толком.
И все эти ее никчемные занятия меня только раздра-
жали. Но, чтобы не огорчать Мадалену, я, пожав пле-
чами, ответил:

— Ну что ж, может, ты и права. Мне это непонят-
но, но, в конце концов, каждый давит своих блох по-
своему.

23

Было воскресенье, к вечеру. Я возвращался с лесопилки, поругавшись с механиком. У хлопкоочисти-
тельной машины отказал маховик, а на лесопилке за-
барахлило динамо. Механик поклялся все наладить в
два дня. Вот незадача. На лесопилке полно леса и все
склады забиты неочищенным хлопком.

— Ах недотепы!

На берегу речки я увидел старую Маргариду. Сидя
на камне, она мыла ноги, тонкие, словно щепки.

— Добрый вечер, тетушка Маргариды.

— Добрый вечер, хвала господу, — отвечала негри-
тянка, стараясь узнать по голосу, кто с ней заговорил.

Наконец узнала, обрадовалась.

— Как ты живешь, тетушка Маргариды? Здо-
ровье как?

— Да вот видишь, живу, сын мой. Лучше, чем дол-
жна бы по грехам своим, — говорила старуха, вытирая
палочки-ноги о полосатую юбку.

— Есть у тебя в чем-нибудь нужда?

— Все у меня есть, сеньора мне чего только не
прислала! И к чему мне столько добра: и простыни,
и ботинки, и платьев целую кучу! Зачем? Ботинок я
вовсе не ношу, одеялом не покрываюсь. Была бы ци-
новка, да чтоб огонь горел пожарче, больше ничего мне
не нужно.

— Ну, я рад, тетушка Маргариды. Будь здорова.

Я простился с Маргаридой, но то, что я услышал,

рассердило меня: Мадалена и здесь распорядилась по-своему. На другом берегу речки Марсиано гнал стадо.

— Эй! Подожди!

Перейдя мостик, я приблизился к стаду: мне хотелось взглянуть на бычка ценной лиможской породы.

— Почему такой тощий?

Бычок не был тощим, но мне нужно было на ком-то отыграться.

— Заткнись, не смей мне возражать.

А виновата была Мадалена: я вспомнил, что ей вздумалось подарить Розе шелковое платье. Платье, правда, не новое, даже с дыркой. Но все равно — Розе дарить его незачем.

— Ты могла его выбросить, — сказал я Мадалене. — Если платье испорчено, выброси его. Но ни к чему приучать бедняков рядиться в шелка.

Мадалена надерзила мне, и мы целую неделю не разговаривали. На сей раз я разозлился не на шутку.

Черепичная крыша лесопилки выделялась красным пятном среди чернеющих там и сям хижин. На противоположном берегу то показывалась, то скрывалась за прибрежной травой склоненная голова Маргариды. По тропе поднимался со стадом Марсиано.

— Дура! — вырвалось у меня в ярости.

Я вспомнил про платье, подаренное Розе, про ботинки и простыни, посланные старой Маргариде.

— Ишь богачка!

Все во мне кипело: чертов маховик, чертово динамо!

— Дура!

Хоть я и понимал, что Мадалена никак не виновата в поломке машин, но в ту минуту все у меня в голове перемешалось и ярость моя росла неудержимо. Бессмысленная, тупая. Я забыл, как сам несколько лет назад тратился на подарки для Розы (пудру и бусы), и что Маргариды мне тоже немало стоила, да еще автомобиль и газета Гондина. Но мне казалось, Мадалена бросает деньги на ветер.

— На ветер, мои деньги...

Я повторил, чтобы убедить самого себя:

— На ветер, ишь богачка!

За густой травой уже не видна была седая голова Маргариды. Исчез и Марсиано за поворотом дороги.

В лучах заходящего солнца еще ярче краснела крыша лесопилки.

Механика выгоню: что за народ пошел!

С динамо мои мысли опять вернулись к подаренным Мадаленой ботинкам и простыням, к злополучному шелковому платью. Но мало-помалу ярость моя утихла. Выгоню механика — это будет лучше всего.

Я остановился, наблюдая за парой фазанов, на моих глазах бесстыдно занимавшихся любовью. Через несколько дней они покинут друг друга и разойдутся в разные стороны, не утруждая себя объяснениями. Все проще простого!

Я направился к дому. Под навесом Мадалена, Падилья, дона Глория, сеу Рибейро оживленно беседовали. При моем появлении все замолчали. Я взял стул и сел от них подальше. Говорилось, верно, о какой-нибудь чепухе, но меня все грызли подозрения, что это милое общество перемывает мне косточки. Очень может быть. Дона Глория со своими вечными секретиками на ушко сеу Рибейро. И Мадалена, слушающая Падилью. Падилью, которого она сама же называла мелкой душонкой. А, к дьяволу! Все они хороши. Болтают, забавляются. Все тайны. Может, конечно, все это ерунда. Но когда вокруг шепчутся, я не могу отделаться от мысли, что шепчутся обо мне. Ненавижу я их шушуканья.

Мое присутствие их стесняло, они вроде догадывались, о чем я думаю. Падилья щерил свои гнилые зубы в подобострастной улыбке.

Я встал, отошел к балюстраде и, повернувшись спиной, стал набивать трубку. Все в моем доме мне было противно.

По двору прошел мальчишка с рогаткой. В будни он должен был помогать в школе, а в воскресенье нет чтобы самому учиться грамоте — слоняется с рогаткой, подстреливая птиц.

Шесть конто за грифельные доски, карты, таблицы и прочие настенные украшения. Шесть конто!

Я бросил хмурый взгляд на Мадалену, но она продолжала сидеть как ни в чем не бывало, словно это не ее рук дело.

Раскурив трубку, я смотрел вдаль, пытаюсь хоть чем-то отвлечься. Домик старой Маргариды прятался в банановых листьях. Марсиано вышел со скотного

двора, и я видел, как он бредет, сторбившись, словно в воду опущенный; проходя мимо дома, он сдернул с головы шапку и спрятал сигарету. Каменоломня, там, наверху, с тех пор как к ней перекрыли дорогу, почти совсем заросла травой.

Городское управление больше не покупало у меня камень, строительство на фазенде закончилось. А мастер Каэтано, валяясь на койке и охая, каждую неделю получал от Мадалены денежки, да еще какие. Да-да, получал, не ударяя палец о палец. И навещали его, и лекарства всякие приносили, и куриный бульон.

— Еще бы, ведь он прикован к постели!

Конечно, он нуждался в помощи, но если содержать всех больных и немощных, так и сам по миру пойдешь!

А тут еще — Розе шелковое платье, Маргариде — ботинки и простыни. И все это, не спросясь меня. Видали вы подобное нахальство? Проматывают мои денежки, попросту обкрадывают меня, да и только.

Я снова сел. Мадалена разговаривала с Падильей, но о чем, я не мог разобрать. Их замешательство прошло. Падилья старался не смотреть в мою сторону.

И почему я не выставил из дома Падилью, этого бездельника, которому ежемесячно отваливал сто пятьдесят мильрейсов, а он, вместо того чтобы заниматься школой, настраивал тут, да, я отлично видел, настраивал всех против меня.

Я отвернулся и оглядывал двор, залитый солнцем, посыпанный песком и гравием. По двору разгуливали голуби; то взлетали невысоко, то прохаживались, задирая нос, то клевали что-то. Их было около полсотни. Сбившись со счета, я начал считать снова, но опять сбился. Вроде бы даже не меньше двух сотен.

Мне вспомнилось время, когда здесь не было ничего, кроме грязи и сорняков. Обмелевшая речка, узкая, извилистая, несла мутную воду через луг, едва смачивая землю. И торчала изгородь, окружавшая владения Мендонсы.

Как все переменялось! Мне хотелось встать и крикнуть:

— Вы только посмотрите! Посмотрите вокруг! Все эти постройки, и часовня, и дорога, и плотина, и луга — всего этого не было. А теперь одна хлопковая плантация протянулась на целых пять километров при ширине в два с половиной! А лес — какое богатство!

Какие сосны, какие кедры! А взгляните на хлопкоочистительную машину, на лесопилку. Вы что думаете, это все само собой появилось?

Падилья продолжал болтать с Мадаленой. Я пожал плечами:

— К чертям, ко всем чертям!

Сеу Рибейро с серьезным видом слушал вздор, который ему нашептывала дона Глория.

Казими́ро Лопес присел на обочине дороги. Кроша острием ножа табак и свертывая самокрутку, он окидывал взглядом, зорким, как у сторожевого пса, луг, плотину, часовню, плантации. Бедный Казими́ро! Как это я про него забыл? Молчаливый, преданный, готовый на все, он единственный понимал меня. Казими́ро улыбался мне невеселой улыбкой. Я прошептал:

— Худо все, Казими́ро.

Казими́ро Лопес понимающе скривил физиономию.

Под навесом продолжали жужжать. Черт побори, ну точно мухи. И какой прок в этой пустопорожней трескотне? Болваны.

Я поднялся, зевая. Что я чувствовал, так это усталость. Целый день в поле: за всем пригляди, все растолкуй. Ноги не держат. Устал.

Темнело. В доме тоже темно. Я вспомнил, что динамо еще не починено. Вот еще напасть. Я вошел в дом и крикнул:

— Мария дас Дорес, зажги свечи!

Малыш ревел, словно некормленный теленок. Тут уж я не выдержал, вернулся и заорал на Мадалену и дону Глорию:

— Да подойдите же к бедняге! Хоть кто-нибудь! Болтают, болтают и пусть хоть все в тартарары провалится! Ребенок прямо весь зашелся от крика!

У нас с Мадаленой тогда уже был сын.

24

В тот день исполнилось два года, как я женился, и к обеду были приглашены Жоан Ногейра, падре Силвестре и Азеведо Гондин.

Утром меня разозлил Падилья. Когда я налетел на него, он проямлил что-то в свое оправдание, и тогда я

не придавал значения его словам, но спустя несколько часов припомнил их.

— Падилья, я ведь вас не держу, — начал я, застав его в саду срезающим цветы. — Вы здесь не под арестом. Если вам работа не нравится, скатертью дорога.

— Почему, сеу Пауло? — воскликнул Падилья в изумлении.

— Да потому. Что это вы занялись цветочками? Разве вас не ждут в школе?

— Но дона Мадалена велела мне срезать розы...

— А вы что, садовник? Дона Мадалена здесь не распоряжается. Хватит того, что вы заставляете ее тратить время на пустую болтовню!

— Но я тут ни при чем, — оправдывался Падилья. — Спросите у доны Мадалены. Она просила срезать несколько роз, чтобы украсить стол к вечеру. Что я должен был делать? Отказать ей? А что до наших разговоров, вы поймите, сеу Пауло: образованная женщина в такой дыре! Нужно же ей хоть с кем-то отвести душу в интересной и умной беседе.

Я про себя посмеялся его нахальству и оставил его в покое. Падилья, обдираясь о шипы, опустошил розовый куст и поспешно исчез. Умные беседы!

Но позднее, в конторе, какая-то неясная мысль запала мне в голову, повертелась в ней, заронив тревогу и выскочила. Я попытался было ухватить ее, но она испарилась. Все же, оторвавшись от письма, которое я держал перед глазами, я, сам не зная почему, подозрительно покосился на Мадалену. Она стояла, прислонившись к столу, рассеянно перебирала листки с рационом для скота, устремив взгляд в окно на растущие вдалеке деревья.

Машинально я подписал протянутую мне бумагу. Так же машинально Мадалена положила передо мной другую. В эту минуту неясная мысль вернулась, мелькнула и снова исчезла, так проворно, что мне опять не удалось ее поймать. Но что-то во мне содрогнулось, и, взглянув на Мадалену, я заметил, что она вроде бы переменилась в лице. Потом ее лицо приняло свое обычное выражение.

За работой я как-то забылся и вечером, когда автомобиль доставил гостей к обеду, совсем успокоился.

— Рад вас видеть.

И поскольку мы обходились без церемоний, я повел друзей в дом и поспешил угостить жаждущего Гондина: появившись в Сан-Бернардо, он немедленно требовал коньяку.

За обедом все весело болтали. И даже я, не вникая в суть беседы, оказался в нее втянутым.

Азеведо Гондин — у него от коньяка всегда развязывался язык — начал восхвалять прелести деревенской жизни:

— Только здесь и жизнь! Разве в каком-нибудь городском дворе среди мусорных куч можно откормить такого вот роскошного индюка? Как упитан, упитан-то как, господа!

Дона Глория презрительно фыркнула и отвела взгляд от стола, в центре которого на большом блюде возлежал индюк, вызвавший столь неумеренные восторги. Падре Силвестре последовал ее примеру и тоже воззрился на садовые клумбы и аллеи.

— Истинное наслаждение жить в таком раю! Какая красота!

— Ну, в гостях все красиво,— прервал я Гондина.— А мы здесь привыкли, не замечаем. Да и не для красоты я это все здесь развел. А на продажу.

— Что, и цветы тоже?

— Все. И цветы, и овощи, и фрукты.

— Вот-вот! — воскликнул падре Силвестре, кивая седоватой головой и морща узкий лоб.— Вот это мудро! Если бы все бразильцы были так же разумны, мы не прозябали бы в такой нищете.

— Ну, это уже политика, падре Силвестре,— протянул Жоан Ногейра улыбаясь.

Тусклый взгляд падре Силвестре загорелся:

— Почему бы нет? Вы ведь не станете отрицать, что мы на краю пропасти.

У падре Силвестре в голове сушая каша. В своем приходе он трудится на совесть, но в политике ни черта не смыслит, повторяет всякую либеральную чепуху.

Падилья тоже не утерпел, всунулся в разговор:

— Совершенно верно.

— На краю пропасти,— повторил падре Силвестре.

— О какой пропасти речь? — полюбопытствовал Азеведо Гондин.

Священник, помедлив, упрямо ответил:

— О той, что перед нами. Страна погибает. Кругом бесчестность, везде одни мошенники.

— О ком вы говорите? Где мошенники? — приступил к нему с вопросами Жоан Ногейра.

Падре Силвестре выпятил нижнюю губу и умолк. Все его мнения были почерпнуты из газет. Но поскольку в печати мнения все время менялись, падре Силвестре, не будучи в силах разобраться во всех этих противоречиях, сохранял верность органам оппозиции, которые неизменно ругали правительство. Оппозиционным газетам он доверял, хотя временами то, что в них писалось, порождало в нем сомнения. Например, все правительственные чиновники именовались в газетах не иначе как мошенниками, а падре Силвестре лично знал некоторых из них и они были вполне порядочные люди. Это несколько подрывало его веру в газетные истины. Все же он старался совместить свои наблюдения с тем, о чем читал в газетах, и склонялся к тому, что, конечно, по отдельности эти чиновники, может быть, такие же люди, как и все прочие, но все вместе они — шайка мошенников.

— Что значит где? Я не собираюсь никого разоблачать. Но факты — упрямая вещь. С ними не поспоришь.

— Но лучше указать точно, — настаивал Жоан Ногейра.

— Зачем? В правящих кругах царит разложение. Страна идет ко дну. Я повторяю: страна идет ко дну. Я подлил ему вина и спросил:

— Что такое с вами стряслось, что вас вдруг обуяли такие идеи? Что за беды на вас обрушились? Ведь такие речи, как я понимаю, ведут те, у кого ничего не клеится. Но у вас-то все обстоит как нельзя лучше?

— Да я же не о себе болею. Финансовое положение в стране ужасно. Да и не только финансовое. Все это кончится революцией, попомните мои слова.

— Только этого нам еще не хватает.

— Тогда все полетит к чертям!

— Почему? — раздался голос Мадалены.

— А, еще одна революционерка! — воскликнул я раздраженно.

— Я просто спросила: почему?

— Почему? Да потому, что тогда мы лишимся всех кредитов и торговля с заграницей пойдет прахом. Уж

не говоря о том, что начнется политическая неразбериха.

— И прекрасно,— прервала меня Мадалена.— А после все образуется.

— Конечно,— поддержал ее Луис Падилья.

— Да вы понимаете, о чем вы говорите?

— Удивительно, что вы, падре Силвестре, так ратуете за революцию,— продолжал Ногейра.— Вам-то какая от нее выгода?

— Никакой,— возразил священник,— я не о своей выгоде пекусь. Но общество выиграет несомненно.

— Ох, не торопитесь,— предостерег Азеведо Гондин.— Запалите костер, да сами в нем и сгорите.

— Красивая фраза! — пробормотал Падилья.

— Совсем не фраза! — завопил Азеведо Гондин.— Если все лопнет, то, как вы думаете, чем кончится эта заваруха?

— Фашизмом.

— Это вам так хочется. А кончится все коммунизмом.

Дона Глория в страхе перекрестилась, а сеу Рибейро прошептал:

— Боже спаси.

— Вам страшно, сеу Рибейро? — обратилась к нему Мадалена с улыбкой.

— Ах, распрекраснейшая, я столько видел на своем веку переворотов, и все они плохо кончались.

— Такого у нас не будет,— уверял падре Силвестре.— Все эти экзотические доктрины у нас не приживаются. Всем известно, что коммунизм несет разруху, нищету и голод.

Сеу Рибейро провел ладонью по блестящей лысине:

— Во времена дона Педро¹ денег в обращении было мало и у кого было одно konto, считался богачом. Но всего было вдоволь, и порой даже часть урожая оставляли на полях. Кастовое масло и хлопок продавали задаром. Не успели провозгласить республику, как все стало втридорога. Вот я и говорю, что все эти перевороты ни к чему хорошему не приводят. А железная дорога...

¹ Дон Педро — император Бразилии Педро II; был свергнут в 1889 году, и Бразилия была провозглашена республикой.

— Нация безбожников! — кричал падре Силвестре доне Глории. — Они перестреляли всех священников, ни один не спасся. А пьяные солдаты срывали иконы и плясали в алтарях.

Дона Глория стенала, приложив руки к груди:

— Какой ужас! Возможно ли! В алтарях!

— Ничего этого не было! — вмешался Падила. — Это все выдумки

— И вы, падре Силвестре, вы ратуете за революцию! — воскликнул Гондин.

Викарий оправдывался:

— Я не ратую. Я сижу тихо в своем углу. Сегодня все бранят правительство, и я тоже его браню. Мы нуждаемся в реформах, да, нуждаемся. Что до коммунизма — все это вздор, к нам это не пристанет. Успокойтесь, к нам это не пристанет. У нашего народа есть вера, мы — добрые католики.

Жоан Ногейра не соглашался с ним:

— Не заблуждайтесь. Ни в ком нет истинной веры. Одни распевают протестантские гимны и проповедуют Евангелие, другие увлекаются спиритизмом, а чернь поклоняется колдунам и священным деревьям. И католическая церковь для многих тот же ресторан: они выбирают блюдо и садятся за стол, но все это без аппетита. А у самых ревностных всегда расстроен желудок. Не заблуждайтесь, падре Силвестре, мы ходим к мессе, но мы вовсе не такие уж добрые католики: наш народ можно повести в любую сторону.

Падре Силвестре, окончательно сбитый с толку, попробовал что-то возразить ему:

— В таком случае...

Но Жоан Ногейра уже потерял интерес к доводам падре Силвестре и вполголоса заговорил со мной, торопясь сообщить мне какие-то сплетни о докторе Магальянсе.

Мадалена обратилась к сеу Рибейро:

— Вы, видно, тоже боитесь всяких перемен?

— Не знаю, распрекраснейшая, должно быть, боюсь. Беды меня не обходят. Здесь у меня хоть есть кусок хлеба. А случись что, так и этого не будет.

Мадалена в чем-то убеждала его, но похоже было, что старик не понимает, что она ему говорит. А во мне снова проснулось недоверие к ней. Нехорошее, злобное чувство. Я уже его когда-то испытывал. Когда?

Жоан Ногейра разделял доктора Магальяэнса. Дона Глория, убаюканная обильной пищей и жарой, дремала, невзирая на гибель, которую ей предрекали. Сеу Рибейро упрямо не желал никаких перемен. А Азеведо Гондин, весь красный, убеждал падре Силвестре:

— Да-да, Ногейра прав. Мне известны люди, которые на страницах газет кричат о своих религиозных убеждениях, а сами ни разу в жизни не раскрыли Библию.

Когда? И вдруг я вспомнил. Это же чувство я испытал сегодня утром, в конторе, когда Мадалена давала мне на подпись бумаги.

Я понял: она в тайном сговоре с Падильей, и они сбивают моих работников с истинного пути. Она коммунистка, вот она кто! Я создаю, а она разрушает.

Все поднялись из-за стола и перешли в гостиную. Там подали кофе.

Коммунистка!

— Коммунисты не признают семью,— настаивал падре Силвестре. Никто ему не ответил.

Мне надоело слушать их болтовню, но я ждал, что скажет Мадалена.

Викарий продолжал поносить все и вся.

А что думает Мадалена?

— Падре Силвестре прав,— поддакивал Гондин.— Религия все-таки помогает держать народ в узде.

— Ерунда! — не соглашался Ногейра.— Разве народ — лошадь, чтобы держать его в узде?

А Мадалена? Религиозна ли она? Верит ли она и во что? Она никогда ни о чем таком со мной не говорила. Чудовищно.

И я тихонько повторил, медленно и не очень убежденно:

— Чудовищно!

Моя жена — безбожница, материалистка. Я припомнил, что Коста Брито говорил про какой-то исторический материализм. Что это такое — исторический материализм?

Что греха таить, я и сам не больно много думаю о царстве божием. Бог для меня — это тот, кто должен вознаградить на том свете моих работников, которым на земле платят не слишком щедро. А дьявол — тот, кто поджарит вора, укравшего у меня породистую ко-

рову. Как видите, я все же не безбожник, хоть порой и полагаю, что мужчине быть верующим ни к чему. Но неверующая женщина — это страшно.

Коммунистка, материалистка. Моя жена. Шушукается с Падильей, этим кретином. «Интересные и умные беседы». А о чем говорят-то? Небось все про социальные реформы или еще про что похуже. Поди знай! Женщина без веры способна на что угодно.

— Конечно, — поддакнул я в ответ на какую-то длинную и нудную историю, которую рассказывал падре Силвестре.

Сеу Рибейро и Азеведо Гондин лениво препирались. Дона Глория клевала носом. Падилья курил в углу.

— Очень может быть.

Видно, я отозвался невпопад, потому что на физиономии падре Силвестре выразилось недоумение.

Я поискал глазами Мадалену и нашел ее рядом с Ногейрой. Стоя с ним у окна, она что-то говорила ему и улыбалась.

Я знаю себе цену. И все же я невольно отметил, что у Ногейры красивые глаза, вкрадчивый голос и костюм спит у хорошего портного. Вспомнил о своих восьмидесяти девяти килограммах, красном, обветренном лице, кустистых бровях. Недовольно оглядел свои огромные руки, волосатые, огрубевшие от многолетней работы. Все это как-то смешалось у меня в голове с материализмом и коммунизмом Мадалены, и я почувствовал приступ ревности.

25

Я почувствовал приступ ревности. Первым моим побуждением было ваять Падилью за шиворот и вытолкать его из дома. Но потом я оставил его, решив отомстить. Я запретил ему появляться в доме, верней сказать, запретил ему покидать стены школы. Там он теперь жил, спал, туда ему приносили на подносе еду.

Четыре месяца я не платил ему жалованья. Когда он попадался мне на глаза, растерянный, тощий, в грязном воротничке, с отросшими волосами, я говорил ему с насмешкой:

— Наберитесь терпения. Потом вы отыграетесь. Вы же у нас апостол. Давайте сочиняйте дальше свои небылицы об угнетенных пролетариях.

Он униженно оправдывался. Покорно проглатывал мои обидные шутки. А однажды зарыдал и, рыдая, умолял меня пристроить его на службу в налоговое управление.

— Это не для вас, Падилья. Вы уж подождите, пока у нас будут советы. Тогда вы сразу станете командиром красной гвардии. И уж не забудьте тогда обо мне, Падилья, будьте другом.

В нашем доме, охраняемом Тубараном и Казимиром Лопесом, жизнь была сплошная тоска и уныние. Дона Глория все вечера проводила под апельсиновыми деревьями, погруженная в газетные романы с продолжением. Мадалена вышивала, и лицо ее словно завлакивали тучи.

Временами тучи редели. После трудового дня всем хотелось переброситься несколькими словами, подремать, посидеть в ленивом оцепенении.

Налетал свежий ветер. Во мне росло какое-то возбуждение, желание распрямиться, встряхнуться. Я устремлял взгляд на гору, опоясанную красной лентой дороги, на лес, на хлопковую плантацию, на плотину, перегородившую речку.

Мадалена откладывала вышиванье и тоже всматривалась в знакомую картину. Глаза ее были широко раскрыты. Красивые глаза.

Каждый из нас ощущал наше тайное соприкосновение, но старался не выдать себя, боясь задеть друг друга неловким словом. Вымученные улыбки, принужденные жесты.

Я принимался рассказывать про сертан. Мадалена — про свое педагогическое училище. И тут снова все летело к черту. Всякий раз. Педагогическое училище! По мнению Силвейры, ученицы в этих училищах — сплошь безбожницы и распутницы, а уж Силвейра-то все премудрости общественного обучения знает как свои пять пальцев, он даже сам составлял программы для министерства. Чему только не учатся девицы в этом училище!

Не люблю я ученых женщин. Эти так называемые интеллигентки приводят меня в ужас. Видел я таких, они читают со сцены стихи, выступают с докладами и управляют своими мужьями или теми, кто их заменяет. На подмостках они заливаются соловьем, а поди окажись с ними наедине, за опущенным занавесом, так

первым делом услышишь: «Ах, я так нуждаюсь в вашей помощи, мой друг...»

Мне они так не говорили, никогда. Но мне рассказывал Ногейра. Воображаю. Они появляются в провинциальных городишках, навязывают, улыбаясь, всякие брошюры и докладки. Это все столичная зараза. Бесстыжие.

Мадалена, конечно, не интеллигентка. Но она безбожница и лезет в политику.

От этих мыслей я весь точно съеживался и был сам не свой.

Я видел, как она, стоя у окна, любезничала с Ногейрой и улыбалась! Улыбалась совсем как эти, со стихами и брошюрами. Мне стало не по себе. Что может остановить Жоана Ногейру? Он хороший адвокат, толково ведет дела, на него можно положиться, у него «да» так «да», а «нет» так «нет». Но по части женщин он — ходок, ни одной не пропустит. И, может, они уж не первый раз так любезничают? Ведь до моей женитьбы на Мадалене они уже были в дружбе... Может, даже были влюблены друг в друга? Когда я встретил Мадалену у доктора Магальяэнса, Жоан Ногейра там уже вертелся... Ох этот доктор Магальяэнс, такого дурака поискать. Как начнет нудить — словно пилой по дереву. «Вы понимаете, я — судья. Судья. Я просыпаюсь утром...» И Ногейра не моргнув глазом все это выслушивает. И делает вид, что ему очень интересно. А когда он сам заводит разговор о политике, Мадалена вскидывает голову и не пропускает ни словечка. Два года замужем и, пожалуйста, стоит с ним у окна и любезничает напропалую.

Я встаю и готов крикнуть ей: «Шлюха!»

Даже с Падильей! Какого черта она рвется вместе с ним отстаивать права угнетенных? Классовая борьба!

Она здесь ведет классовую борьбу. Совсем совесть потеряла.

А потом эти статейки в газету Гондина. Она не бросила их писать. Не часто пишет, но пишет. И с Гондином они не разлей водой. Я вспомнил, как он меня тогда поздравлял. Видно было, что не от души. А еще раньше Гондин и Падилья восхищались, какие у нее красивые ноги и грудь.

А я-то размяк и доверился ей. Интеллигентке.

Верно, лицо у меня сделалось ужасное, потому что Мадалена побледнела и с трудом удерживала дрожь.

Если бы я знал... Что знал? Есть ли мужья, которые что-нибудь знают?

Верно, все кабокло в округе потешаются надо мной. И даже Марсиано с Розой судачат по ночам, в постели, о моем позоре.

Известно ли Марсиано обо мне и о Розе? Не знаю. Я всегда старался услать его в город, за покупками. Может, он и сам не хотел ничего знать. Мне легче было думать, что он не отличается догадливостью.

И все же, наверное, никто никогда не знает всей правды.

О чем разглагольствует сеу Рибейро? И дона Глория?

Я не торопясь вышел посмотреть малыша, который ползал на четвереньках по комнатам, падал и плакал. Я приласкал его. Худенький он был. Белокурые волосы, как у матери. Зеленые кошачьи глаза. А у меня глаза темные. Курносый нос. У всех детей обычно курносые носы.

Оглядев его, я не рассеял своих сомнений: на меня ребенок не был похож, но он не был похож и ни на кого другого.

Малыш снова принялся ползать, падать и орать, жалкий, уродливый, как смертный грех. Ножки и ручки у него были как спички, прямо жалость брала. Ревел он день и ночь, орал словно проклятый, и нянька ополоумела с ним от бессонницы. Орал до того, что делался весь красный, и однажды я думал, что он задохнется от крика, но падре Силвестре окунул его головой в раковину, и он замолчал. Когда у него попли зубы, он весь покрылся нарывами и, обклеенный с ног до головы пластырем, был ни дать ни взять освежеванная туша.

Никто им не занимался. Дона Глория читала. Мадалена слонялась из угла в угол с покрасневшими веками и вздыхала. Я говорил себе: «Не слишком она любит нашего сына!»

А мальчишка все ревел, не умолкая ни на миг. Только Казими́ро Лопес был с ним ласков. Он выносил его под навес и там с ним забавлялся, рассказывал ему сказки про ягуара и убаюкивал его песнями, которые

поют в сертане. Малыш залезал к нему на колени, держал его за бороду, а Казими́ро Лопес пел ему:

Семимесячным родился,
не кормила мать меня.
Семь коров меня кормили,
а не то бы помер я.

Добрая душа, этот Казими́ро Лопес. Не видел никого, кто был бы так незлобив. Ручаюсь, что он даже не понимал, что причиняет кому-то зло. А все его называли зверем. Неправда. Зверь в нем просыпался редко. Он просто был свирепый и доверчивый, как дикий.

26

Мне становилось все хуже и хуже. Я чувствовал себя так, будто был болен, тяжело болен. Тоска, постоянная смута на душе и ярость. Мадалена, Пади́лья, донна Глория — я не мог больше выносить этот треугольник! Я еле сдерживался, чтобы не ударить Мадалену, ударить по лицу! И дону Глорию тоже, ведь это она, всю свою жизнь работая как лошадь, вырастила такое сокровище!

В любой мелочи мне мерещилось черт знает что, любой жест, случайное слово наводили на подозрение.

Девушка из педагогического училища! Силвейра когда-то давал мне понять обиняками, что меня ждет. Теперь я должен сносить все это — и поделом: не будь болваном.

Сносить! Да-да — сносить! И я должен сносить такой позор? Я был уверен в нем, мне недоставало только явного доказательства: войти в ее комнату и застать ее в постели с другим.

Я мучился желанием застать ее врасплох. Однажды я ворвался к ней и стал рыться в ее чемоданах, книгах, письмах. Мадалена рыдала, кричала, с ней сделался нервный припадок. Потом были еще припадки, крики и брань, и наша жизнь превратилась в ад.

Как-то раз на фазенду заехал по пути доктор Магалья́нс, и я пригласил его позавтракать. Во время завтрака я заметил, что он как-то особенно любезен с Мадаленой. Не то чтобы мне почудилось нечто подозрительное в их разговоре, но мне не нравилось, как



они держатся друг с другом, как улыбаются, как смотрят. Мне померещились какие-то знаки и сказанные шепотом слова.

Ночью я не мог спать. Мадалена спала, свернувшись клубочком на краю постели, а я сидел и задыхался от ненависти к ней.

И с доктором Магальяэнсом, со стариком! Впрочем, сказал я себе, уныло ощупывая свой заросший подбородок, я ведь тоже старик. Отчасти я сам виноват: никогда за собой не слежу. Вечно эта чертова работа, по три, по четыре дня не бреешься. И всегда я возвращаюсь по уши в грязи, свинья свиньей. И как ни поливаю себя горячей водой, все равно разве всю грязь с себя смоешь!

И мои огромные ручки! Огромные, потрескавшиеся, мозолистые ладони, затвердевшие, словно лошадиные копыта. И пальцы тоже огромные, но короткие и толстые, как обрубки. Такими руками ласкать женщину!

А у доктора Магальяэнса, этой бумажной души, руки гладкие, словно замша, и ногти тщательно ухоженные — такими не оцарапаешь. Еще бы, он только и знает копаться в документах!

Мадалена спала. Такая хрупкая, такая нежная! За последнее время она сильно похудела.

Я встал с постели и подошел к окну. Да, руки у меня и впрямь не руки, а ручки. Взглянул на себя в зеркало. Он не блещет красотой, доктор Магальяэнс,

по я от своей чертовой жизни, когда целыми днями лаешься с батраками на таком пекле, я просто страшен. Черный от солнца. А бровищи-то! Волосы еще только начали седеть, а отросшая борода вся белая. Столько дней не бриться! Так себя запустить!

Назавтра я застал Мадалену за писанием какого-то письма. Я подошел к ней сзади на цыпочках и прочитал на конверте адрес Азеведо Гондина.

— Может, ты мне дашь прочитать?

Мадалена закрыла рукой еще не сложенный листок.

— Зачем тебе? Это касается только меня.

— Прекрасно. И все же я хочу посмотреть.

— Но я ведь тебе сказала, что это касается только меня. Какая гадость!

— Дай мне письмо! — потребовал я, тряся ее за плечи.

Мадалена старалась вырваться, держа письмо в поднятой руке; потом, перехватив его другой рукой, спрятала письмо за спину.

— Не трогай меня! Занимайся своими делами!

Ее упорство взбесило меня.

— Дай мне письмо, шлюха!

Мадалена вырвалась и металась по комнате с криком:

— Негодяй!

Дона Глория, перепуганная, показалась в дверях.

— Ради бога! Зачем, чтобы все слышали?

Но я уже не помнил себя.

— Идите объясняйтесь с этой сучьей дочерью! Вы что, оглохли? Хватит корчить из себя святую добродетель! Да, да, она сучья дочь — вот кто! Если вам мои слова не по вкусу — можете убираться вон! Вы, конечно, стоите горой за свою племянницу? Обе вы — сучьи дочери!

Дона Глория исчезла, прижимая платок к глазам.

— Негодяй! — кричала Мадалена.

Я как заведенный повторял:

— Покажи письмо, шлюха!

Мадалена разорвала письмо на мелкие клочки и кинула в окно.

— Негодяй!

Словно вихрь выбежала она из комнаты. Из коридора донесся ее крик:

— Убийца!

Ошеломленный, я пробормотал:

— Сука!

И застыл, глядя на клочки бумаги: ветер разносил их по саду, и они цеплялись за розовые кусты. В гостиной или в кухне все еще слышался крик Мадалены:

— Убийца!

Все ее прежние оскорбительные слова были просто оскорблениями, но, бросая мне последнее слово, она что-то имела в виду. И это мучило меня. Женщины, с их сентиментами, не должны вмешиваться в мужские дела.

До нее только один человек осмелился открыто называть меня убийцей — Коста Брито из «Журнал». Справедливости ради нужно сказать, что то, как я отделал его тогда, и помогло мне завоевать Мадалену. Злосчастная победа! Не лучше ли было бы для меня сохранить дружбу Косты Брито? Добрая дружба стоит дороже многих женитьб.

Убийца! Почему у нее вырвалось именно это слово? Случайно? Или она что-нибудь вычитала в «Журнал»? Скорей всего это Падилья постарался пересказать ей всякие ходившие про меня сплетни. Да, так Падилья мало-помалу превращался в злодея. Какая честь для него! Падилья — злодей! В моей памяти всплыла история с Жакейрой и снова улетучилась, в моих ушах раздавался голос Мадалены, и я сам мысленно стал повторять про себя: «Убийца! Убийца!»

Вместе с тем во мне клокотало глухое раздражение: сколько времени потрачено на весь этот вздор!

Мадалена, доня Глория, Падилья — все они сучьи дети. Я тут схожу с ума, а на плантации черт знает что творится.

Я потянулся. Всю ночь не сомкнуть глаз! Снова посмотрел на свои руки, и внутри у меня что-то задрожало. И в самом деле, какие огромные ручки!

Жакейра... Ах да, несколько лет тому назад...

Вдруг я вспомнил, что Мадалена всегда относилась неприязненно к бедному Казимиру Лопесу. В конце концов...

Убийца! Что она знала о моей жизни? Я никогда с ней не пускался в откровенности. У всякого есть свои тайны. А мы могли бы порассказать друг другу много любопытного. У каждого наберется достаточно грехов.

У Мадалены, питомицы педагогического училища, их, верно, наберется немало. О ее прошлом я ничего не знаю. Знаю только, что в настоящем она — дурная женщина, ясно, что дурная.

Сверх всего еще и неблагодарная. Казимиро Лопес выносит мальчишку под навес и нянчится с ним, убаюкивает его песнями. Господи, как все запуталось. Казимиро Лопеса она не называет убийцей, нет, она меня так называет. Впрочем, в тот момент я не посчитал это странным. И меня не ужаснуло бы, если б вдруг оказалось, что я и Казимиро Лопес — один человек.

Чертов Падилья!

Кто бы мог подумать, что Жакейра...

Опять Жакейра. Вот, в двух словах, история Жакейры. Жакейра — хилиак, ничтожество, вечно все его колотили: и наши парни, и все, кому он попадался под руку. Жакейра в ответ на колотушки только бормотал:

— Когда-нибудь я прикончу одного из этих мерзавцев.

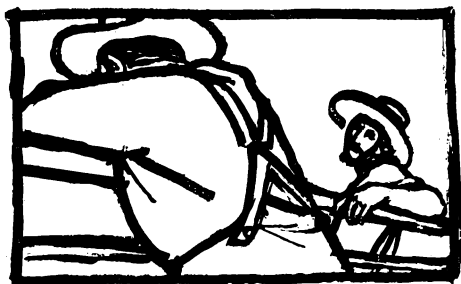
С его женой спали все кому не лень. Двери тут же открывались, только постучи. А если жена медлила, Жакейра сам шел отворять, зевая и бормоча свою угрозу:

— Когда-нибудь я прикончу одного из этих мерзавцев.

И прикончил. Притаился за деревом и разрядил ружье прямо в сердце одному типу. Только шестеро присяжных проголосовали за смертную казнь (пример попустительства). Когда он вышел из тюрьмы и вернулся сюда, здесь все прониклись к нему уважением и больше никто не посмел пальцем дотронуться до Жакейры.

27

Когда я успокоился, мне стало казаться, что весь этот шум был поднят не из-за чего. Доктор Магальяэс по природе таков, что не может не рассыпаться перед женщиной в любезностях — в чем его подозревать? А письмо, адресованное Гондину, всего-навсего какая-нибудь очередная статейка. Ничего другого не могло быть. Подумать только, из-за таких пустяков и черт знает какая перепалка, как только друг друга не



поносили, и все это слышала Мария дас Дорес, и сеу Рибейро тоже слышал. Черт меня подери!

Мадалена — честная женщина, неужели не ясно? И письмо она не хотела мне дать из гордости, не хотела уступить, это же яснее ясного. Идиотская ревность!

Да она скромнее любой монашки! Серьезная, бескорыстная. Добра до крайности, лесную зверюшку и ту без помощи не оставит. Что у нее в мыслях, конечно, разгадать трудно — разве в чужие мысли проникнешь, но к словам ее и поступкам не придерешься. Она могла бы наговорить мне еще и не такого. Могла бы обозвать похуже, чем убийцей. Похуже. И на нее я не был в обиде. Против кого я кипел, так это против наглеца Падилья.

Утренний приступ ярости сменился благодушием. Вся еще не выдохшаяся во мне злоба обернулась теперь против училишки.

Бесстыжая рожа! Выгону его без промедления! И вечером я пошел сообщить ему об этом.

Падилья предложил мне стул, сам сел на табурет и ждал, поникший, словно дохлая курица:

— К вашим услугам, сеу Пауло Онорью.

— Я должен сообщить вам неприятную новость. Вы мне больше не нужны.

— Но почему? — проговорил Падилья, потрясенный. — Чем я вам не угодил?

— Вот-те раз! Вы меня еще спрашиваете? Вы сами должны знать, чем не угодили.

— Но я ничего не сделал. Да и что бы я мог сделать, сидя здесь взаперти? Моя жизнь хуже, чем у арестанта. Никуда не выхожу. Если и пройдуся шагов двадцать, так Казими́ро Лопес идет за мной по пятам. В чем же я виноват? Скажите, в чем?

— Я не собираюсь ничего вам объяснять.

Падилья опустил голову.

— Ну да, конечно. Год начинается, проходит, дурак работник, живя в конуре, надрывается изо всех сил, стараясь угодить хозяину, но вместо прибавки жалованья получает под зад коленом.

Он встал.

— Дайте мне по крайней мере хоть несколько дней, чтоб все здесь закончить и подыскать другую работу. Не могу же я пойти отсюда куда глаза глядят.

Я тоже поднялся:

— Даю вам месяц срока.

— Очень благодарен, — пробормотал Падилья. — Вот так: мы же должны еще и благодарить. Ловко обставлено. А ведь не будь я на посылках у вашей супруги, ничего бы этого не случилось. — Он возмущился:

— Да-да, на посылках! «Найдите мне эту книгу, сеу Падилья». И я иду за книгой. «Принесите бумагу, сеу Падилья». Я приношу. «Перепишите эту страницу, сеу Падилья». Я переписываю. «Нарвите апельсинов, сеу Падилья». Даже рвать апельсины! На посылках. Эта женщина — причина моего несчастья.

— Придержите язык, — прервал я его.

— А что я такого сказал? Что я был у нее на посылках? Был. За это вы меня и выгоняете.

— Ничего подобного! Выгоняю за то, что вы здесь разводили сплетни, строили козни, занимались всякими происками, вот за что.

Падилья сначала онемел. Потом выпалил одним духом:

— Какие такие сплетни, козни, происки? Что вы имеете в виду? Разве моя вина, что ваша супруга увлекается передовыми идеями? Если дело в этом...

— Не в этом, нет.

— Ну, тогда я не знаю.

— Послушайте, Падилья. Я прожил уже почти полвека и людей повидал немало. Вы мне зубы не заговаривайте. Я на многое закрывал глаза. Но если я

говорю вам, что вы тут строили козни, значит так оно и есть.

Падилья не мог успокоиться.

— А вы докажите. У меня совесть спокойна. Почему вы не говорите прямо? Раз вы знаете, так скажите.

— Ну, что ж, не будем играть в прятки,— отозвался я, не скрывая насмешки.— Разве вы не распускали всяких небылиц о Мадалене? И обо мне? Распускали? Или нет?

— Я ничего не говорил, сеу Пауло. О чем я мог говорить, ведь я ничего не знаю.

— Зачем же опять врать? Я сам слышал.

Падилья смутился.

— Ладно. Если вы, сеньор, сами слышали, что ж мне спорить. Но только вы слышали то, чего я не говорил.

— Нет, я слышал, как именно вы это говорили. Зачем упорствовать? Слух у меня хороший.

— Если вы что и могли слышать,— сдался Падилья,— так только как я рассказывал доне Мадалене о смерти Мендонсы. Но дона Мадалена уже до меня знала эту историю...

— Что она знала?

— Ну, людям ведь рот не заткнешь. Чего только не наговорят. А я, напротив, хотел ей все объяснить и вас защищал: — «Дона Мадалена, это все дела давно минувших дней, чего их ворошить, все равно уж никого не воскресишь. Старый Мендонса сам был хорошая болячка, у всех соседей нагребил земли. А всяким слухам не верьте, все это враки. У сеу Пауло доброе сердце, он и цыпленка убить не способен».

Мне вспомнилась утренняя ссора. Точно, как я и думал: все козни этого мерзавца.

— Почему, Падилья, вы сказали мне, что Мадалена — причина вашего несчастья?

— А вы считаете, нет? Не будь ее, я не потерял бы места. Все из-за нее. И к тому же не по душе мне это было. Сколько раз я ей честно и откровенно говорил: «Дона Мадалена, сеу Пауло питает отвращение к социализму. И лучше сеньоре не увлекаться этими новомодными идеями. Все эти разговоры ни к чему не приводят». Вот так. Большой попугай кукурузу склевал, а маленькому все перья выщипали. Маленький попугай — это я.

Я не мог устоять:

— Тогда о чем же вы с ней беседовали?

Моя ревность вышла наружу. Падилья, не скрывая улыбки, ответил со значением:

— О литературе, политике, искусстве, религии... Очень интеллигентная сеньора, донна Мадалена. И образованная, и начитанная. Но я напрасно отнимаю у вас время. Вы, сеньор, лучше меня знаете женщину, которая вам принадлежит.

28

«Вы, сеньор, лучше меня знаете женщину, которая вам принадлежит». Как сказано!

Падилья что-то знает. Знает? Или берет меня на пушку?

Все это догадки. А я хотел только одного: знать наверняка и покончить со всем этим. Так или иначе.

«Вы, сеньор, лучше меня знаете женщину, которая вам принадлежит». Ни черта я не знаю! Вот что лишило меня сна и покоя. Жить с женщиной в одном доме, есть за одним столом, спать в одной постели и обнаружить через несколько лет, что она тебе совсем чужая! Боже мой! Но ведь я и самого себя не знаю: я столько раз делал не то, что нужно, и даже не знаю до сих пор, что же такое творилось со мной все эти полные мучений месяцы!

Сколько времени тратят люди на бессмысленные страдания! Не лучше ли было бы нам родиться волами? Но волами, у которых есть разум. Глупей всего то, что без мучений нам жизнь не в жизнь. Виновна? Невиновна? Для чего все это? Мы сами ищем себе мучений. Виновна? Невиновна?

Если бы я уверился, что Мадалена невиновна, я бы устроил ей такую жизнь, какой она себе и представить не могла. Накупил бы ей столько платьев, что ей век не сносить, и дорогих шляпок, и дюжины шелковых чулок. Я стал бы к ней внимателен, очень внимателен и пригласил бы лучших столичных врачей, чтобы вылечить ее от бледности и худобы. И пусть бы она раздавала свои платья женам моих батраков.

А если бы я узнал, что она мне изменяет? О! Если бы я узнал, что она мне изменяет, я бы убил ее, и не сразу, а так, чтобы она еще помучилась перед смертью.



Передо мной возникали картины ее зверского убийства, но вскоре моя жестокость сменялась отвращением к самому себе. Что это даст? Убийство бессмысленно. Лучше выгнать ее, пусть помытарится. Пусть повалится на больничных койках, помыкается без пристанища, а когда я встречу ее на улице, голодную, оборванную, изможденную, изглоданную болезнями, я подам ей милостыню.

Виновна? Невиновна?

Разве это важно! Среди трудов и забот нас настигает смерть, дьявол уносит наши души, друзья провожают нас в последний путь со скорбными рожами и тут же забывают, что мы когда-то жили на этом свете.

И что мне до того, о чем думают Падилья, сеу Рибейро, дона Глория, Марсиано? Вот Казими́ро Лопес, тот ни о чем не думает. Если бы я мог быть таким, как Казими́ро Лопес!

«Плохо дело, Казими́ро», — прочел он в моих глазах.

И Казими́ро Лопес, пожав плечами, дал мне понять, что он с этим согласен.

29

Когда мои подозрения становились невыносимы, я готов был предпочесть, чтобы они подтвердились. У Мадалены есть какая-то тайна, несомненно.

— Несомненно, несомненно, понимаете? Несомненно.

Эти бесчисленные повторения словно укрепляли мою уверенность.

Я потирал руки. Несомненно. Это лучше, чем шараться от одного к другому.

Видно по всему, что донна Глория — обыкновенная сводня. Семенящая походка, опущенные глаза, тихий голос — именно такими и бывают сводни. В молодости за ней, видно, водились грешки. Она, сводня, и сбила племянницу с пути. Две суки всегда будут заодно.

Да, Падилья открыл мне глаза...

В ярости я повторил про себя: «Благодарю, Падилья».

Да, теперь я все понял. В Сан-Бернардо не нашлось бы кошки или собаки, которая не знала бы, чем занимается моя жена.

«Эта женщина — причина моего несчастья». Ни капли уважения! Кто осмелился бы бросить в лицо мужу подобную ересь о его жене? А? Кто? Ясней не скажешь.

Падре Силвестре проездом навестил Сан-Бернардо — я и его заподозрил и держал с ним ухо востро. Господи прости, и его я заподозрил. Стреноженному коню тоже есть надо.

Мое несчастье тащило меня ко дну: я заподозрил, что Мадалена путается с батраками-каболо. С батраками, да, да.

Иногда рассудок пытался меня удержать: «Поостынь, болван. Все это сплошная бессмыслица».

И в самом деле, зачем белой женщине, чисто вымытой, хорошо одетой, наглаженной, образованной, спать с этими черными, грязными и воняющими потом скотами? Мне все это мерещится. Мерещится? Но я сам видел, как один из батраков подал ей знак...

Сделав над собой усилие, я чем-то занялся и постарался успокоиться. Убедил себя, что знак был подан вовсе не ей. Не мог он быть ей подан.

Выходит, не мог?

Ну конечно, не пойдет же она с первым попавшимся, не разобравшись, чего он стоит.

Однажды вечером старая Маргарита, опираясь на палку, поднялась навестить нас, и я весь вечер не

спускал с нее глаз, заподозрив, что несчастная старуха принесла какое-то послание Мадалене.

Думаю, что я тогда просто рехнулся.

30

Ночью мне почудились в саду чьи-то шаги. Почему этот чертов Тубаран не лает? Подлая псина, видать, совсем нюх потеряла. Я вскочил, схватил ружье, погасил свет и распахнул окно:

— Эй, кто там?

Может, это охотятся за мной? Люди Гамы, Перейры, Фиделиса? Навряд ли. Угрозы давно прекратились: мы с Казими́ро Лопесом нагнали-таки на них страху. Все же из осторожности я прижался к стене. В темноте вроде что-то промелькнуло.

— Кто там? Зверь, что ли, какой залез? Непохоже...

Мой выстрел, переполошив обитателей фазенды, заставил Мадалену с криком соскочить с постели.

Я прикрыл окно и зажег лампу.

— Кто там был? — простионала перепуганная Мадалена.

— Кому ж бродить по ночам вокруг дома, как не твоим ухаже́рам? Уложу я кого-нибудь из этих сучьих детей прямо под окнами!

Мадалена рыдала, зарывшись в подушки.

За окном — свист, протяжный. Условный знак.

— Свистит, слышишь? Или нет? Свиданье у вас, что, здесь в спальне назначено, в нашей постели? Видать, до этого уже дошло? Может, мне уйти? Ты скажи: если хочешь, чтоб я ушел, я уйду. Не стесняйся.

Мадалена захлебывалась от рыданий.

Мне сделалось совестно. Зачем я так жесток с ней? Чудовищно жесток.

А если и шаги, и свист вовсе никак с ней не связаны? Тогда, значит, я клюнул на пустышку и веду себя как последний идиот? Вдруг и шаги, и свист просто мне померещились? Я помнил, как в те времена, когда за мной и впрямь охотились, я хватался за нож, слышав мышиную возню. Каждый может обмануться. Мне захотелось поправить положение:

— Ну, хватит проливать слезы. Из-за того, что кто-то бродит по саду и свистит, ни к чему разводить такую сырость. Лучше покончить со всем этим притворством.

Мадалена продолжала рыдать, и рыдания ее не умолкали, пока она, измучившись, не забылась во сне. Стараясь не притрагиваться к ней, я притулился на краю постели. Уже почти заснувшего, меня вдруг разбудил скрежет ключа в двери и одновременно какой-то шум на крыше — будто кто-то выламывал черепицу. Меня как подкинуло: сев на постели, я затаил дыхание. Кто-то пытается проникнуть в дом с помощью ключа или разобрав крышу.

Я тихо заглянул в лицо Мадалене. Слышит ли она? Спит или только делает вид, что спит?

Встав с постели, я сел в кресло. Мадалена спала.

Конечно, никакого скрежета и шума. Все это ночные кошмары. И шаги в саду тоже, верно, мне почудились. Кошмар. Вот именно. Кошмар. И может, никто и не свистел, а просто крикнула сова.

Часы в столовой пробили один раз. Который час теперь? Половина первого? Час ночи? Половина второго? Или половина какого-нибудь другого часа?

Сон никак меня не брал. Я считал до ста, загибал мизинец, считал до двухсот, загибал безымянный палец — и так далее, пока не досчитал до тысячи и не загнул все десять пальцев. Потом принялся снова считать до ста и, сосчитав, разогнул большой палец. Сосчитал до двухсот и разогнул соседний — ковыряльщика. И когда я дошел до двух тысяч, все пальцы на руках оказались разогнутыми. Я повторил всю эту чушь, представив себе, что каждый палец равен одному конто чистой прибыли. У меня быстро составилось такое неслыханное богатство, что, раздосадованный, я бросил это занятие.

Часы снова пробили один раз. Час? Половина второго? Надо посмотреть. Я встал и, тяжело ступая, направился в столовую. Мадалена продолжала спать.

Не выходя из спальни, я открыл, потом закрыл двери в коридор. Не спуская глаз с лица Мадалены, открыл их снова и снова закрыл. Вот это сон! И она отдыхает во сне, а я тут все потроха себе изгрыз. Спит, как будто все идет как надо. Мне хотелось разбудить ее и снова начать ту бесконечную распря, которая давно

стала нашей жизнью. Спать, когда я места себе не нахожу, когда я весь извелся, как может она спать? Но что меня изводит? И куда это я направляюсь сейчас, ночью, с ключом в руке и с вытаращенными в сторону Мадалены глазами?

Ах да, я же хотел посмотреть на часы. Толкнув дверь, я вышел в коридор, в столовую. Узнать который час — все же хоть какое-то дело.

Я сел на свое место за столом. Когда ссоры еще только начали входить у нас в привычку, я всегда сидел здесь по вечерам, споря с Мадаленой. Чего только мы тут не наговорили друг другу!

Для чего нужно вечно спорить, вечно что-то выяснять? Для чего?

В самом деле, для чего? Все, что я говорил, было просто и понятно, но я напрасно ждал от своей жены такой же простоты и ясности. А я, я не умел разглагольствовать, как она, то и дело вставляя всякие мудреные и хитрые словечки. Даже когда она пыталась подражать моей незатейливой деревенской речи, то в ее устах мои самые безобидные и ясные слова уподоблялись змеям: они изворачивались, жалили и были полны яда.

81

Однажды вечером я поднялся на часовню и застал там Марсиано: он охотился на сов, которые гнездились под крышей и каждую ночь будили всех вокруг. Мне пришло в голову остаться и посмотреть, как он станет вылавливать этих проклятых птиц.

Сверху я слышал, как возится под крышей невидимый Марсиано. И в каждое из четырех оконцев, смотрящих в четыре разные стороны, я мог видеть расстилавшийся внизу пейзаж. Из одного окошка была видна часть конторы и письменный стол, за которым сидела моя жена и что-то писала. Отведя взгляд чуть в сторону и оторвавшись от этой привычной картины, я различил крыло дома, двери, окна, кровать в комнате доны Глории и угол столовой. Поднял голову, и горизонт заполнился черепичными крышами, оштукатуренными стенами, резными карнизами. Еще дальше — поля, горы, тучи.

Сочные луга лежали зеленым ковром, и пасшиеся на них быки и коровы были похожи на целлулоидные игрушки. Хлопок взбирался по склонам холмов, спускался с них и снова появлялся, едва видимый в такой дали. На прогалине среди темных, почти черных, зарослей терялись в тени фигуры лесорубов.

Раздался крик совы. И Марсиано, весь в паутине, вылез из мрачного совиного убежища.

— Еще одна. Чумовые эти совы, сеу Пауло.

Я ворчал про себя: «О чем она думает, ослица? Пишет все. Какой-нибудь вздор».

Но тут я увидел, как Роза, жена Марсиано, переходит вброд речку. Юбки задрала аж до пояса. Пройдя самую глубину, опустила пониже. Вышла на берег, постояла немного, давая ногам обсохнуть, и двинулась дальше, изгибаясь и раскачивая бедрами, — чистый соблазн!

Расстояние округляло, а солнце золотило вершины гор. Они сияли, словно головы святых.

— Если бы у этой притворщицы не были мозги набекрень, могла бы тоже сюда ходить любоваться: где еще такую красотищу увидишь!

Когда начало смеркаться, я спустился по винтовой лестнице. На душе у меня стало полегче. Хотя по натуре я не слишком впечатлительный, но все же увиденное мною убедило меня, что мир не так уж плох. На пятнадцатиметровой высоте вам кажется, что вы как будто сами выросли на пятнадцать метров. И когда с высоты вашего гигантского роста вы видите у ваших ног бесчисленные стада, плантации, которым нет конца и края, — и все это ваше... Когда вы различаете дымок над крышами принадлежащих вам домов, где живут люди, питающие к вам страх, уважение и даже, может быть, любовь — ведь они все зависят от вас, — в эти минуты вы испытываете великое успокоение.

Вы чувствуете себя добрым, вы чувствуете себя сильным. А если где-то поблизости томятся ваши недруги, то — пусть даже они вовсе неопасны и любой мальчишка, вооружившись палкой, справился бы с ними — ваше представление о собственной силе возрастает и крепнет еще больше. И на фоне всего этого кукла, царапающая строчки, отсюда не видные, на бумаге, которую все-таки можно разглядеть, не должна была меня заботить. Я спустился по винтовой лестнице



в согласии с богом и людьми и с надеждой, что все эти подозрительные свистки не будут меня больше тревожить.

Размышляя таким образом, я направился в сад; нужно было взглянуть, хорошо ли подстрижены фруктовые деревья. Проходя мимо конторских окон, я увидел на земле исписанный листок, не иначе как унесенный со стола ветром. Подняв его, я без особого интереса пробежал глазами строчки, выведенные аккуратным круглым почерком Мадалены. И, честно признаюсь, ничего не понял. Куча каких-то незнакомых мне слов, другие вроде бы по виду и знакомые, но поставлены без всякой связи, так что все равно непонятно. Может, конечно, все это было написано прекрасно, потому что жена моя грамматику знала до самого доньшка и не боялась вычеркивать и вписывать, если ей что-нибудь не нравилось, но здесь уж было начеркано столько, что разобраться в исправлениях мне оказалось не по силам.

— Экие премудрости! Чего бы не написать просто и ясно?

Бродя среди апельсиновых деревьев, я совсем забыл, зачем я сюда пришел. Снова и снова перечитывая листок, я все же проник в смысл нескольких фраз, сбивчивых и запутанных, и они заставили меня задрожать. Дьявол! Это был кусок письма, письма к мужчине! Не хватало имени адресата и начала письма, но оно было адресовано мужчине, в этом я не сомневался.

Ошеломленный, я еще раз перечитал письмо, задерживаясь на выражениях, которые были мне понятны, и пытаюсь угадать смысл незнакомых мне слов.

— Вот и доказательство, — бормотал я, потрясенный. — Кому же эта шлюха пишет?

Мои догадки метались от Жоана Ногейры к доктору Магальянсу и от Азеведо Гондина к Силвейре из педагогического училища. Я снова и снова вгрызался в листок бумаги, и, пока читал, сынал проклятьями, словно каторжник, и в висках у меня стучало.

Совсем стемнело, и я уже не мог различать буквы.

Да, письмо было к мужчине!

Я все ходил и ходил под фруктовыми деревьями.

— Разве я какой-нибудь Марсиано из этой сучьей банды?

В ярости я повернул к дому. Мной владело только одно желание: покончить с этой бедой, покончить немедленно.

Я шел как слепой и вдруг нос к носу столкнулся с Мадаленой, выходявшей из часовни.

— Иди за мной! — закричал я, хватая ее за руку. — Есть дело.

— Что еще? — спросила Мадалена, когда я втаскивал ее в темноту ризницы.

Я зажег свечу и прислонился к уставленному статуями святых алтарному столу на возвышении, где падре Силвестре облачался в дни богослужений.

— Что ты здесь делала? Молилась? Конечно, ты скажешь, что молилась.

— Что еще? — повторила Мадалена.

Я ждал, что она в ответ станет осыпать меня оскорблениями, но ошибся: она молча уставилась на меня такими широко открытыми глазами, словно проглотить меня хотела. А во мне все клокотало. Руки мои тряслись и тянулись к Мадалене. Я что есть силы сжал их, чтобы унять дрожь, и с искаженным лицом бросил ей:

— Ты написала письмо!

Ледяной ветер с гор, ворвавшись в окошко, обдавал меня холодом, но я горел как в огне. Дверь скрипела, время от времени скрип сменялся неистовым хлопаньем, после чего дверь снова принималась скрипеть. Меня это бесило, но я даже не подумал о том, что ее

можно закрыть. Мадалена словно ничего не слышала. Я смотрел на нее и на висевшую на стене картину.

— Думаешь, я это так оставлю?

В часовню на цыпочках вошел старший сын Марсиано. Не обернувшись в его сторону, я проревел:

— Вон отсюда!

Мальчишка направился к окну.

— Вон отсюда! — снова заорал я.

Мой вид, верно, привел его в удивление. Он пробормотал:

— Время закрывать часовню, сеу Пауло.

Я понял, что веду себя с ним глупо, и сказал притворно ласково:

— Хорошо. Но сейчас еще рано, придешь попозже.

Часы в ризнице показывали девять.

Снова подул северный ветер, и дверь стала хлопнуть еще неистовей. Я обхватил руками голову.

— Ну, что тебе еще здесь надо, чертенок?

Пострел выскочил вон.

Не знаю, сколько я так простоял. Ярость моя уступила место тоске, тоска — усталости.

— Кому же ты писала?

Я смотрел попеременно то на Мадалену, то на статуи святых. Святые ничего не знали, Мадалена не желала отвечать.

Что меня ужасало, так это невозмутимость, которая была написана на ее лице. Я втащил ее сюда, задыхаясь от бешенства, и был готов убить ее на месте. Разве я мог жить с ней, подлой обманщицей?

Но по мере того как проходил час за часом, растерянность и трусливая нерешительность все больше овладевали мной.

Гипсовым статуям не было дела до моей беды. И Мадалена стояла такая же безучастная, как они. Почему она такая?

Я убедил себя, что убить ее было бы справедливо. Разве можно оставить ее в живых, лживую и распутную? А мертвой простятся все ее вины.

Руки мои, все еще сжимаясь, тянулись к ней, но как-то неуверенно, без прежней ярости.

— Говори! — закричал я, не узнавая своего голоса.

— Зачем?

— Но ведь письмо... Мне нужно, чтобы ты сказала...

Я сунул руку в карман и, вытащив измятое и грязное письмо, подал ей. Мадалена разложила листок на алтаре, прочитала его и отодвинула в сторону.

— Ну?

— Это я писала.

Свеча догорела. Я зажег другую и, забывшись, продолжал держать спичку, пока она не обожгла мне пальцы.

— Скажи что-нибудь.

Мне все казалось, что здесь какая-то ошибка и что, если бы Мадалена захотела, она могла бы сразу успокоить меня. Сердце билось неровными толчками: словно обезумев, я жаждал от нее доказательств невинности.

— Зачем? — прошептала Мадалена. — Вот уже три года мы живем ужасной жизнью. А когда мы пытаемся объясниться, я каждый раз боюсь, что дело окончится дракой.

— А письмо?

Мадалена взяла листок, сложила его вдвое и протянула мне:

— Остальное ты найдешь на моем столе, в конторе. Этот листок, наверное, унесло в сад ветром, когда я писала.

— Кому это письмо?

— Ты сам увидишь. Оно лежит сверху на столе. Напрасно ты так волнуешься. Ты сам увидишь.

— Ладно.

Я перевел дух. Господи, как я устал!

— И прости меня за все огорчения, которые я тебе доставила, Пауло.

— Боюсь, что у меня были основания...

— Не надо больше об этом, Пауло.

Я пробормотал что-то невнятное.

— Неужели тебе непонятно, что все разрушила твоя ревность?

Слова раскаяния уже вертелись у меня на языке. Но я проглотил их, понуждаемый своей нелепой гордыней. Правду говорят: гордость — дьяволу потеха.

— Не обижай тетю, Пауло. Когда кончится вся эта мука, ты сам убедишься, что она — превосходная женщина.

А я всегда был так груб с несчастной старухой!

— Ну не скажи. Она тоже во многом виновата. И любит во все вмешиваться.

— А сеу Рибейро работающий и порядочный человек, не правда ли?

— Правда. Когда-то он сам сдавал карты и ходил с козырей. А теперь нашел здесь пристанище. Не повезло ему, бедняге, но он достоин уважения.

— И Падилья...

— Ну, нет! Падилья — кляузник и подстрекатель. И зря ты за него заступаешься. Подлейший тип.

— Ты слишком нетерпим. Марсиано... С Марсиано ты тоже чересчур жесток, Пауло.

— Черт побери! — воскликнул я раздраженно. — Прямо целый синодик!

— Не сердись, — проговорила Мадалена, не повышая голоса.

— Я хотел бы...

Я присел на скамью.

Хотел я только одного: чтобы она освободила меня от моих подозрений.

— Что бы ты хотел? — повторила Мадалена и тоже села.

— Если б я знал!

Я сидел, сгорбившись, уронив тяжелые руки на колени. Мадалена полусерьезно, полущутливо проронила:

— Если я вдруг умру...

— Это что еще за разговор? Вдруг, ни с того ни с сего...

— Почему ни с того ни с сего? Разве кто-нибудь знает, когда мне умереть? Если я вдруг умру...

— Перестань. Зачем об этом говорить?

— Ты тогда раздай мои платья семье мастера Казтано и Розе. А книги — сеу Рибейро, Падилье и Гондину.

В нетерпении я вскочил с места:

— Перестань, что ты заладила одно и то же!

И поспешил заговорить о другом, надеясь обрадовать Мадалену и прогнать ее мрачные мысли:

— Я хотел бы поехать куда-нибудь.

Сказав это, я и сам оживился и, усевшись снова, важег сигарету.

— Сразу после уборки. Оставляю вместо себя сеу Рибейро, пусть за всем здесь присматривает. А мы поедem в Баию. Или в Рио. В Рио даже лучше. Отдохнем

несколько месяцев. Ты полечишь свой желудок, поправишься и развлечешься. И мне не мешает проветриться. Всю жизнь в этой дыре и работаешь как негр. И в Сан-Пауло еще завернем. Ну как, согласна?

Мадалена не отрывала взгляда от пламени свечи. Оно дрожало, и наши тени плясали на стене. Вдруг я услышал:

— Сегодня утром в лесу я видела цветущие ипэ — целых четыре дерева с цветами. Теперь неделю будут цвести. Жаль, что так недолго.

— Жаль, конечно, — пробормотал я, не в силах увязать Рио и Сан-Пауло с цветущими ипэ. — Так как, поедем? Ты хочешь?

Глаза Мадалены по-прежнему не отрывались от свечи.

— Да, я молилась. Молилась — нет, даже не молилась: на молитвы не было времени...

Господи! Что творилось в этой бедной голове! Я вдруг получил ответ на свой первый вопрос.

— Мне так много приходилось писать, что у меня даже пальцы немели. Мелким-мелким почерком, чтобы сэкономить бумагу. Перед экзаменами я спала по дватри часа. Ведь я не могла рассчитывать на чью-нибудь помощь, понимаешь? В доме, где мы жили, было сыро и холодно. Зимой я перетаскивала все свои книги на кухню и там занималась. Когда мне было ходить в церковь? Я все училась, училась, училась и вечно тряслась от страха, что провалюсь на экзаменах...

Она очень волновалась, было видно, что она очень волнуется. Вдруг ни с того ни с сего она заговорила совсем о другом:

— Там внизу, в домах у батраков, тоже сыро и холодно. Это нехорошо. Я молилась за них. За всех вас. Молилась... Все говорила сама с собой...

Часы в ризнице пробили полночь.

— Боже мой! Как уже поздно-то! Заболтались мы тут...

Мадалена встала и положила мне руку на плечо!

— Прощай, Пауло. Я пойду лягу.

У дверей она обернулась.

— Не держи на меня зла, Пауло.

Почему я не бросился следом за моей бедной женой? Не знаю. Потому что все боялся поступиться своей глупой гордостью. Потому что она меня не позвала. Потому что сидел, придавленный усталостью.

Сидел, пережевывая бессвязные слова Мадалены, чудное ее поведение. Потом вспомнил о письме, оставленном ею в конторе.

Кому оно написано? Ревность вернулась снова. О, я знал, что она принесет беду, и беду непоправимую...

Мало-помалу я погрузился в тяжелое, прерывистое забытие. Мне чудились какие-то огромные, непроходимые болота.

Когда я очнулся, свеча уже догорела и погасла, и рассвет, наступивший незаметно для меня, пробивался в окно часовни. Дверь все скрипела, в ризнице было полно сухих листьев, наметенных ветром, и они шуршали, перекатываясь по черно-белому кирпичному полу. Часы стояли, но было похоже, что я проспал несколько часов. Пели петухи, луна зашла, ветер устал выть без передышки, и утренние лучи заиграли на образах часовни.

Я встал. Спина у меня задеревенела от неловкого сидения. Потянулся. Все тело болело, как после тяжких побоев.

Выйдя из часовни, я заглянул на скотный двор, выпил стакан молока. Перемолвился с Марсиано насчет его охоты на сов. Потом пошел пройтись в ожидании, пока совсем рассветет.

В лесу я увидел цветущие ипэ — и вправду очень красиво они цвели.

Всего три года, как я женился. И вот уже год меня терзает эта дьявольская ревность.

На лесопилке прогудел гудок; в окне дома показались бакенбарды сеу Рибейро; Мария дас Дорес распахнула двери; Казимиру Лопес понес на кухню целую охапку всякой зелени.

Я спустился по склону. Еле-еле ковылял: в крестце отдавало. Ничего себе ночь! Дойдя до банановой рощи, я разделся и бросился в речку: понырял и поплавал.

Когда я подходил к дому, солнце уже стояло высоко. Спину все еще ломило. Ну и ночь!

Я уже поднимался по ступенькам, когда услышал в глубине дома душераздирающие крики.

— Черт подери, это что еще за вопли?

Я поспешил в дом, прошел по коридору прямо в спальню: крики неслись оттуда. У постели толпились домочадцы. Растолкав их, я остолбенел: Мадалена ле-

жала, распростертая на постели, белая, с остекленевшими глазами и пеной в углах губ.

Я бросился к ней, схватил ее руки, уже не гнущиеся, окоченевшие, стал слушать сердце, оно не билось. Не билось.

На полу виднелись пятна от пролитой жидкости и осколки стекла.

Дона Глория билась на ковре в истерике. Вскликивала нянька с ребенком на руках. Заливалась слезами Мария дас Дорес.

Я продолжал растирать руки Мадалены, будто надеялся оживить ее. И бормотал:

— Господи, ты все можешь, господи!

Когда-то я услышал эти слова от кого-то из батраков, и теперь они всплыли в моей памяти нелепой надеждой.

Я приложил зеркальце к Мадалениным губам, приподнимал ей веки и повторял как заведенный:

— Господи, ты все можешь, господи!

— Какое несчастье, сеньор Пауло, какое неслыханное несчастье! — шептал стоящий рядом со мной сеу Рибейро.

Из-за его спины раздался робкий голос Падильи:

— В столь тяжкую минуту я счел своим долгом...

— Спасибо, большое спасибо.

И, повинувшись ежедневной привычке, я направился в контору, продолжая бормотать:

— Господи, ты все можешь, господи!

В конторе, на Мадаленином столе, лежал конверт, о котором она мне говорила. Я вскрыл его. Это было длинное письмо, в нем Мадалена прощалась со мной. Я читал, пропуская куски и понимая все лишь наполовину, потому что в каждой строчке наталкивался на слова, по моему невежеству мне непонятные. Одной страницы не хватало: именно той самой, что лежала у меня в бумажнике вместе с накладными на цемент и заговорными молитвами против лихорадки: их когда-то навязала мне Роза.

Ее похоронили под мозаичными плитами в часовне. Я оделся в черное, заказал памятник. Доктор Магальянс, падре Силвестре, Жоан Ногейра, Азеведо Гондин,



соседи — все пришли выразить мне соболезнование. Я не мог оставаться в супружеской спальне и перешел в комнату наверху. Там в углу, на потолке, свили себе гнездо завирушки. По утрам они жалобно кричали. У моего изголовья, на тумбочке, грудой лежали телеграммы и конверты в траурной рамке.

Мне необходимо было чем-то себя отвлечь, и я лихо радочно занялся выборочной рубкой леса. Потом распорядился начать ремонт плотины: она давно в нем нуждалась.

Но горячность, с которой я хватался за разные работы, быстро остыла. Я жил и что-то делал, но это была полужизнь-полусмерть.

Я все время думал о Мадалене. По правде говоря, я не мог забыть ее ни на минуту. В сумятице первых дней эти мысли порой тонули где-то в глубине, но едва осела тягостная суeta, они всплыли на поверхность, и больше мне не удавалось ни прогнать их, ни даже отвлечься хоть на мгновение. Они сразу же возвращались снова. И я погружался в свои воспоминания, и самые неотложные и прежде целиком поглощающие меня дела казались мне докучными и бессмысленными.

Теперь я проводил время, шагая взад-вперед по гостиной, руки в карманах, во рту — погасшая трубка. Заходил в контору, с отвращением глядел на конторские книги, выходил, бродил по коридорам, по комнатам, потом снова принимался мерить шагами гостиную.

Однажды в саду я засмотрелся на муравьев, без устали бегающих туда-сюда неизвестно для чего. Но это мне было неизвестно — для чего, а они-то знали. Неприятный голос доны Глории прервал мои наблюдения:

— Я пришла проститься. Я уйду.

Я поднял голову и увидел ее перед собой, суровую, одетую в черное, плохо сшитое платье, которое она обычно натягивала, когда хотела принарядиться.

— Куда?

Дона Глория тощим пальцем описала что-то вроде полукруга.

— Уйду отсюда.

— Но вам некуда идти.

И я снова склонился над муравьиной кучей: муравьи, однако, уже исчезли.

— Я уйду, — непреклонно повторила дона Глория.

Я попробовал было отговорить ее:

— Зачем вам уезжать? И куда? Подумайте хорошенько.

Дона Глория прервала меня, неслыхаемая, словно палка от метлы:

— Я не прошу у вас советов. Я пришла проститься, чтобы не уподобляться беглому негру. Поставить вас в известность.

Вышагивая перед ней взад-вперед — у меня это уже вошло в привычку, — я ответил:

— Ну что ж. Каждый волен собой распоряжаться. Когда же вы вернетесь?

— Никогда.

— Так...

Я зашагал быстрее.

— С кем же вы отправляетесь?

— С богом.

— Хорошо. Автомобиль заправлен. Вас отвезут.

— Благодарю, но я пойду пешком.

Тут уж я разошлся не на шутку.

— Скатертью дорога!

И продолжал, еле сдерживаясь:

— Побредете, значит, куда глаза глядят, жалуюсь всем в округе, что я выгнал вас из дому, лишил куска хлеба, выбросил вас на улицу, разутую, раздетую?

Дона Глория, задыхаясь от обиды, отрезала:

— А вы что, прикажете меня арестовать? Я никого не убила, ничего не украла, никого не оклеветала... Я ухожу.

Я в ответ:

— О чем вы говорите? Что за выдумки? Вы хотите уйти? Прекрасно, я вас за ноги не держу. Хотите остаться, оставайтесь, вам здесь никто никакого зла не сделает. Не хотите, воля ваша. Но зачем же такая спешка, словно за вами гонятся? Так не годится. Раз-два и отправились... Соберитесь, уложите вещи...

— У меня все готово.

— Но вы должны уехать как положено. И нужно, чтобы у вас было где жить и на что жить.

— Я ни в чем не нуждаюсь. Я не знаю, где я буду жить. Знаю только, что я покину этот дом сегодня же.

— Не ребячьтесь, — уговаривал я ее, подбирая подходящие слова. — Вспомните о вашей прошлой жизни. У вас нет ни образования, ни ремесла. Что вы станете делать? Читать романы? Приводить в порядок церковные бумаги? На это не проживешь.

Мало-помалу дона Глория поддалась на мои уговоры. Потому ли, что по характеру своему была отходчива, или потому, что сочла мои доводы разумными, не знаю.

— Подумайте только, — продолжал я, — каких денег стоит в городе жилье... А лекарства? Заболеть, дона Глория, легко, а вот чтоб вылечиться, надо еще как трудиться. Подумайте о ценах на рынке, за свет и воду тоже нужно платить. Нынче жизнь везде нелегка, дона Глория, но уж в городе жизнь — сущее разорение.

Дона Глория согласилась со мной, что жизнь в городе — сущее разорение. Уступая мне, она, однако, по-прежнему держалась гордо и независимо — вроде бы милость мне оказывала.

Тут я объявил ей, что задолжал Мадалене зарплату за три года. Дона Глория поверила или притворилась, что верит.

— Будет справедливо, если вы получите эти деньги.

Дона Глория не возражала.

Я снабдил ее деньгами на дорогу, сказал, что она будет получать ежемесячно двести мильрейсов, и пре-

поручил ее Жоану Ногейре: в его доме дона Глория переночевала, а утром отправилась дальше.

Через несколько дней сеу Рибейро вдруг заявил, что он просит расчет.

— Вы это всерьез, сеу Рибейро?

— В этом доме меня одолевают тяжкие воспоминания.

— Меня тоже. Что поделаешь! Но вам уходить отсюда нелепо, сеу Рибейро.

— Вы правы, сеньор Пауло, вы правы.

— Вам предлагают какое-нибудь место?

— Никакого.

— Вот как! Тем более глупо, что вы хотите уйти. И рекомендовать вас я никому не могу. В вашем возрасте вас все равно никто не возьмет. По счастью, вы здесь проработали несколько лет и кое-что скопили. На скромное житье вам хватит.

— С тяжелым сердцем я уйду, сеньор Пауло,— простонал сеу Рибейро, вытирая глаза.— Тоска меня гнетет. Душа разрывается на части.

— Так оставайтесь. Тут вас все любят. Оставайтесь.

— Нет, это невозможно, совершенно невозможно. Мое решение непоколебимо.

— Ну, как хотите.

Я с печалью оглядел контору, теперь более просторную после того, как стол Мадалены отставили в угол.

И вот превосходнейший сеу Рибейро, который, как я надеялся, будет когда-нибудь покоем здесь, в Сан-Бернардо, больше не сидит с нами за кофе или на скамейке в саду и не развлекает нас своими стариковскими рассказами.

33

Падилья стал заходить на фазенду и кружил возле дома; сталкиваясь со мной, он каждый раз рассыпался в неумеренных похвалах моему хозяйству. Однажды он появился под навесом и вертелся там, явно чего-то выжидая. Я притворился, что не замечаю его маневров.

— Входите, Падилья.



Месяц прошел с того дня, как я отказал ему от места. Падилья вошел и... остался. Я пригласил его. Все-таки живой человек.

Пока я, мрачный и весь какой-то расслабленный, оглядывал окрестности Бон-Сусесо и размышлял о семействе Мендонсы, прозябающем в нищете, Падилья говорил. Он говорил без устали, не умолкая, захлебываясь словами. Я не слышал того, что он там говорит. Ничего не слышал. Но все-таки человеческий голос.

Потом он ушел.

В один из дней Азеведо Гондин принес вести о революции: восстанием охвачены и юг, и центр, и северо-восток.

— Это конец света.

Падилья потер руки:

— Наконец-то этот нарыв прорвался!

К вечеру начальник полиции прислал ко мне нарочного с просьбой помочь оружием и людьми. Утром я отправил в город грузовик с вооруженным отрядом.

Вести о революции все множились; мы узнали, что в правительственных войсках полное разложение: батальоны и полки примыкают к восставшим, спешно формируются новые, но тут же разваливаются, повсюду развеваются красные знамена, а в Рио арестовано правительство.

— Нашествие варваров! — кричал Азеведо Гондин. — Мы погибли!

Падилья, донельзя возбужденный, глотал манифест за манифестом и в нетерпении кусал ногти. Когда же красная волна докатилась и до нашего штата, он внезапно исчез. Жоан Ногейра просветил нас на этот счет:

— Падилья и падре Силвестре вступили в революционные войска и уже заслужили галуны.

34

В городе шла ожесточенная политическая грызня. Мне всегда были не по душе подлые дразги маленького городка, и я счел за лучшее укрыться у себя в имении.

Досадно, конечно, что моя партия рассеялась как дым. Но что поделаешь! Теперь остается сидеть в дерьме и помалкивать.

Взяв верх, все эти гамы, переиры, фиделисы, конечно, станут делать мне разные мелкие пакости. С души меня от них воротило. Но всерьез они мне не навредят. Попортят проволочную ограду или у какого-нибудь моего батрака отберут на ярмарке нож, чтоб засадить его в тюрьму... Не без того.

Хуже, что Падилья увел с собой десяток или дюжину батраков, они тоже примкнули к восставшим. Небось вернутся.

А зачем? Пусть бы и оставались с такими, как они, бродягами и делали бы свою революцию дальше.

Зевота меня одолевала. Зевал так, что чуть челюсть себе не сворачивал. Постылая жизнь! Вы скажете, что ведь у меня был сын. Не любил я его. Такой слабенький, бледненький.

Ежели немного окрепнет, поручу ему лесопилку. А уж если все такой же будет хлюпик, отдам учиться на доктора.

Так вроде я начинал строить какие-то планы.

А, к черту все это!

Мир, который меня окружал, словно застыл в каком-то сонном одурении. А тот, другой, большой мир рисовался мне хаосом, скопищем демонов, и был он таким же тупым и беспросветным.

Друзья и газеты не говорили ни о чем другом, кроме как о революции.

— Проклятая чума! — вопил Азеведо Гондин. — Всех запугали до смерти. Угрожают по телеграфу, по

радио, листовки бросают с аэропланов — все трясутся от страха. Такого подлого народа еще свет божий не видывал.

— Ну, это уж чересчур, — возразил ему адвокат. — Есть и смелые люди.

— Какое там смелые, — снова завопил Гондин. — Все, кто должен был взяться за оружие, они-то как раз и попрятались!

— Потому что их время уже прошло. А революционеры — напротив: у них есть идеалы и мужество. Я не стану кричать об этом на всех перекрестках, но что есть, то есть.

— К черту весь их идеализм! А что касается мужества...

— Все же надо судить по справедливости, Гондин, — прервал я его вяло и примирительно. — В мужестве им не откажешь. И нечего тут спорить.

— Нечего! Нет, есть чего! Вот вы тут рассуждаете, а они знай себе наступают и наступают! А все мы от страха всякую совесть потеряли! Государственные мужи и те уже появляются в красных шейных платках!

— Ну, это только в Алагоасе, — прервал его Жоан Ногейра.

— Повсюду. А если кто и не примыкает к ним, так лишь потому, что не заслужил их доверия.

— Что касается меня, — разглагольствовал Ногейра, — то мне все едино: быть внизу или наверху, так что я никогда не искал выгоды в политике. Я нахожусь внизу и не стремлюсь наверх. Демократию я всегда считал бессмыслицей и много раз говорил об этом. Хотя, черт меня побери, я тоже голосовал за наше бывшее правительство. Но диктатура у нас не пройдет! попробуйте-ка отнять землю у наших фазендейро.

Гондин разразился протестующими воплями: его возмущало, что Ногейра вроде бы оправдывает революцию. А я сказал только:

— Хотел бы я посмотреть на падре Силвестре в форме лейтенанта...

— Что ему вдруг вздумалось разыгрывать из себя патриота? — добавил Ногейра.

— Скотина! — пробурчал Азеведо Гондин.

«Крузейро» перестал получать денежную субсидию.

Вся эта болтовня об одном и том же все-таки развлекала меня. Раз в неделю я приглашал их пообедать.

со мной. В городе разные крикуны начали поговаривать, что Сан-Бернардо — гнездо реакционеров.

— Ну, как дела?

— Плохо.

До меня доходили слухи о бессмысленных расправах, актах мести, всяких следственных комиссиях, перемывающих грязное белье.

Ногейра, сторонник умеренности, жаждал согласия между победителями и побежденными.

Гондин же, напротив, питал отвращение ко всякого рода перемирию. Он требовал зуб за зуб — понимаете? Он без конца придумывал разные суровые меры и готов был обсуждать их с кем угодно: со мной, с Ногейрой, с деревьями в саду; он призывал нас устроить заговор против революции (и чем скорее, тем лучше), чтобы смести весь этот наглый сброд. Он мечтал о сильной власти, о правительстве крутом, но справедливом, о правительстве деятельном, которое восстановило бы в стране порядок, финансовую дисциплину и ежемесячную субсидию в сто пятьдесят мильрейсов для «Крузейро». То, что творится в стране теперь, не может так дальше продолжаться.

Он обстреливал нас громкими словами, которыми привык орудовать в своей газете. В Сан-Пауло все должны, как один, бесстрашно подняться на борьбу; в Сан-Пауло продолжает пылать священный огонь; в Сан-Пауло, на земле бандейрантов¹, взвоятся новые знамена во славу поправленной свободы.

— Вы говорите как по писаному, Гондин, — пробормотал я, ошеломленный. — И далеко пошли бы, ежели бы мы все не полетели вверх тормашками.

Жоан Ногейра с головой ушел в подготовку выборов и вдалбливал всем, как нужно все это хитро обставить. Гондин тоже любил обсасывать разные тонкости выборной процедуры.

Казими́ро Лопес издали прислушивался к этим непонятным для него словопрениям.

Я смотрел на часовню. И мысленно шел туда: поворачивал за угол, спускался по ступенькам, шел через сад, огород, входил в часовню.

¹ Бандейрант — участник бандейры, военной экспедиции в глубь страны с целью поиска сокровищ и захвата рабов; расцвет деятельности бандейр приходится на XVII век.

В это время Жоан Ногейра осуждал революционную литературу за ее выпященный патриотизм.

Часовня, алтарный стол, уставленный статуями святых; литографии на стенах, двери хлопают на ветру; погасла свеча, и я зажег другую, а горящую спичку все держал в руке, пока она не обожгла мне пальцы. В домах у батраков сыро и холодно. Семья мастера Каэтано живет в крайней нужде. И несчастный Марсиано, избитый, униженный!

Азеведо Гондин теперь вопил, проповедуя свободу. Он удовольствуется нищенской субсидией своей газете. Пусть он будет по уши в долгах. Он готов примириться с этим. Единственное его желание, чтобы у газеты были развязаны руки и она могла бы каждой своей строчкой чехвостить этих никчемных политиканов.

Свеча погасла. Было поздно. Скрипела дверь. Луна светила в окошко. Северо-восточный ветер гнал по полу сухие листья. И я уже не слышал, о чем там вопит Гондин.

35

В новый год я вступил, как говорится, с левой ноги. Многие мои постоянные и надежные клиенты внезапно разорились. Другие бежали или покончили с собой, и «Официальный бюллетень» был заполнен сообщениями о банкротствах и отсроченных платежах. Мне пришлось резко сократить производство.

Я перестал разводить птицу; огороды и плодовый сад тоже были запущены. Созревшие апельсины гнили на деревьях. Лучше пусть гниют, чем собирать, сортировать, упаковывать, отправлять, и все это задаром.

Беда никогда не приходит одна. Прядильные фабрики, которые раньше платили за хлопок авансом, теперь отказались от этого похвального обычая и даже норовили покупать хлопок в кредит. А когда я поневоле продал в кредит часть урожая, так меня же нагрели на сортности.

Необходимы были новые машины для хлопкоочистительной фабрики и для лесопилки, но, произведя расчеты, я убедился, что на это понадобится целое состояние: доллар подскочил до небес.



— Ни о каких новшествах не может быть и речи. Вкладывать последние деньги, а потом отдавать товар чуть не даром этим мошенникам!

В довершение всего банки отказали мне в кредитах. Не знаю почему, но отказали. Отказали, хотя я ни разу не запаздывал с платежами. Только этого мне еще не хватало! Я набросился на управляющего:

— Если вы не хотите иметь со мной дело, воля ваша. Либо векселя надежны, либо нет. Если надежны, почему вы мне отказываете? Ах, у банка свои затруднения! Но не я же выдумал эту революцию?

Через полгода я разорился вконец и вынужден был продать задешево свой автомобиль, чтобы не опротестовали случайно не оплаченный мною вексель на шесть тысяч эскудо.

— Попали в отлив. Теперь в выигрыше лодыри. Кто бы сейчас жил припеваючи, так это старик Мендонса, у которого фазенда всегда была в сплошных зарослях, а сахарный заводик давно зачах. Работать? На кой черт! Лучше уж сидеть, сложа руки.

Однажды, когда я вот так, со сложенными руками, глядел издали на свою фабрику и лесопилку, Жоан Ногейра прибыл ко мне с новостью, что Фиделис и Гама возбуждают дело о пересмотре границ между нашими владениями. А доктор Магальяэнс, как назло, уехал в это время в другой штат.

— Вот вам прелести революции, — возмущался Ногейра. — Какой-то новоиспеченный чиновник! И с ним

должен меряться силами такой судья, как доктор Магальянс! Судья с незапятнанной репутацией!

Я только пожал плечами: я как-то совсем упал духом. Жоан Ногейра тоже приуныл. Ничего не попишешь.

И снова раздавались мои мерные шаги по всему дому. Иногда я толкал дверь в контору, чтобы отдать распоряжение сеу Рибейро. Мне чудилось, что я вижу дону Глорию, грезящую над романом в саду.

И мои ноги несли меня по всему дому, словно мне нужно было отыскать там кого-то.

36

Прошло два года со дня смерти Мадалены, два тяжких года. А когда друзья перестали навещать меня, чтобы поговорить о политике, стало и вовсе невыносимо.

Тогда-то и пришлось мне в голову написать историю моей жизни с помощью моих более образованных приятелей. Но, как вам уже известно, идея эта лопнула. Однако месяца четыре тому назад, когда я писал деловое письмо в штат Минас с отказом от покупки свиней и зебу, что мне было теперь не по карману, я вдруг услышал крик совы и вздрогнул.

Нужно завтра же послать Марсиано, чтобы он ее поймал.

Но в эту минуту я снова вспомнил о том, что хочу написать книгу. Я закончил письмо и, помедлив немного — я ведь понятия не имел, как начинают писать книгу, — взял и написал сразу целую главу.

С этого времени, сидя в столовой, с трубкой и чашкой кофе, я старательно припоминал все происшедшее под стрекот цикад, глядя на чернеющие за окном апельсиновые деревья.

Порой я так просиживал далеко за полночь, без конца перебирая свои воспоминания. Новое мое занятие давалось мне с трудом, и часто я готов был все бросить.

Позавчера и вчера, к примеру, из писания моего ничего не вышло: зря только потерял два дня. Напрасно я пытался ввести в какое-то разумное русло всю эту писанину, которая извергалась словно ливень, и все,

что появлялось из-под моего пера, казалось мне нелепым бредом. Все мне не нравилось, и я сам не понимал, что со мной творится, и не знал, как это описать.

Я чувствовал себя раздавленным. Может, я болен? Нет. Здоровье у меня отменное. Когда Коста Брито из-за двухсот мильрейсов, которые он хотел с меня сорвать, изрыгнул свои статейки, он в них обозвал меня больным, намекая, что, мол, это и толкает меня на разные темные дела. Но Коста Брито — известная скотина. А на самом деле до сего дня, благодарение богу, ни один врач не переступал порога моего дома. Сроду никогда ничем не был болен.

Просто я постарел. В Петров день стукнет пятьдесят. Пятьдесят пропавших лет, потраченных неизвестно на что, не принесших радости ни мне, ни другим. Только сам я стал такой, как я есть: грубый, ожесточившийся, весь словно покрытый твердой скорлупой, и никто, и ничто не может проникнуть сквозь нее и ранить мою душу.

Пятьдесят лет! Сколько напрасно прожитых часов! Потрачена целая жизнь, а на что? На то, чтобы жрать и дрыхнуть, как свинья! Как свинья! Каждое утро подыматься ни свет ни заря и весь день носиться до упаду ради того, чтобы добыть себе пропитание! А потом работать на то, чтобы было что есть детям, и внукам, и всем тем, кто будет жить после них! Экая бессмыслица! Чистое свинство! К дьяволу такую жизнь!

Зной, ливни, бессонные ночи, подсчеты, сделки, насилие и риск — и в итоге я даже не могу себя обманывать, что создал что-то полезное, нужное кому-то. Сад и огород — одичали, пекинские утки — погибли, хлопок и клещевина высохли на корню. А изгороди соседей, моих смертельных недругов, наступают на мои земли.

Конечно, если со всем этим хаосом покончить, именно можно было бы возродить снова, и оно стало бы таким, как раньше. И снова батраки работали бы от зари до зари, получая свою похлебку из маниоки и тресковых плавников; и грузовики сновали бы взад-вперед, перевозя продукцию на железную дорогу; и фазенда снова наполнилась бы движением и шумом.

Но для чего? Вы не можете мне сказать?

В этом движении и шуме было бы много слез и много проклятий. Младенцы в сырых и холодных лачугах снова станут пухнуть от голода. И не будет



Мадалены, чтобы послать им лекарства и молоко. А мужчины и женщины снова будут двигаться как по-нурые животные.

Животные. Все эти люди, которые много лет мне служили, были животные. Среди них были домашние животные, как, например, Падиля, были дикие звери — например, Казимиро Лопес, и был рабочий скот для работы в поле — покорные волы. И жили они в таких же загонах, разве что в строениях, прилежащих к усадьбе, имелось электричество. А самые резвые из их телят учились грамоте по букварю и затверживали наизусть заповеди закона божьего.

Животные. Некоторые из них меняли свою породу: становились солдатами, поворачивались направо, поворачивались налево, стояли в карауле. Другие рыскали повсюду в поисках подножного корма.

Если бы я смог снова заполнить ими загоны, у меня снова были бы высокие урожаи, банки открыли бы мне кредиты, я купил бы еще земли и настроил бы новые загоны. Для чего? Все это не принесло бы мне радости.

Смею думать, что я достаточно возвысился над той средой, из которой вышел. Как я уже говорил, мне пришлось быть поводырем у слепца, торговать сладостями и нанпматься батраком. Вряд ли любое из этих занятий могло способствовать моему умственному развитию, да еще настолько, насколько это нужно для сочинения книжек. Моя книга — не бог весть что, я согласен,

но иногда мне кажется, что самые удачные куски из написанного мной все же стоят большего, чем сочинения Гондина. Смею полагать, что и я сам стою больше, чем мастер Каэтано и ему подобные. Однако, понимая, что все мое образование сводится к доскутьям знаний, подобранным без разбору и плохо спитым, должен сказать откровенно: мое превосходство, хоть я им и горжусь, убого и ничтожно.

Уверен также, что товарная бухгалтерия, книги по земледелию и животноводству, составившие основу моего образования, отнюдь не сделали меня лучше, чем я был в те времена, когда валил деревья. По крайней мере тогда я и в мыслях не имел, что стану таким жестоким со своими собственными батраками.

Что же до остальных приобретений — домов, земель, всего движимого и всех тех, что двигались сами, а также мое участие в политике и так далее, следует признаться: все это пло уже как-то помимо меня.

Я словно сбился с дороги.

Если бы я продолжал чистить песком медную кастрюлю старой Маргариды, мы с ней оба и поныне вели бы тихую, размеренную жизнь. Говорили бы мало, задумывались бы еще меньше и по вечерам, выпив кофе с тростниковым сахаром, засыпали бы на циновке.

Если бы я не ранил Жоана Фагундеса, я женился бы на Жермане, приобрел бы с полдюжины лошадей, небольшое пастбище, мулов, стал бы лучшим погонщиком в округе. В городских лавках покупал бы в кредит на сто мильрейсов разных тканей, и на всех праздниках моя жена и ребяташки красовались бы в новой одежде. И мои желания не выходили бы из привычного круга, перестали бы мучить меня своей чрезмерностью и не вынуждали бы меня никого обижать и преследовать. И тогда зимними утрами, вместе с другими погонщиками, я ехал бы, щелкая кнутом: на ногах — альпартаты, на голове — соломенная шляпа, в сумке бренчит мелочь; я пропускал бы глоток кашасы, чтоб согреться, и распевал бы всю дорогу, веселый, как все бедняки.

А я давно уже не пою и не смеюсь. В зеркале мое лицо ужасает меня: рот и глаза полны жестокости.

Я думаю о городке, где жил полвека назад сеу Рибейро. Сеу Рибейро тоже копил, но копил не для себя. У него тоже был большой дом — полная чаша. Но там

езде было всего довольно, и никто в тех краях не голодал. Я представляю себе, как бы я жил в то время, когда страной управлял император, в этом городке под мудрым покровительством сеу Рибейро. Не умел бы читать, не имел бы и понятия об электричестве и телефоне. В разговорах обходился бы немногими словами, бурно жестикулируя. Как и во всех домах, у меня висела бы масляная лампа, но и она была бы ни к чему, потому как с наступлением темноты все ложились бы спать. Могла бы разразиться не одна сотня революций. Но я ничего бы о них не слышал. Очень может быть, что я был бы счастлив.

И мне больно расставаться с этим счастьем, которое не принадлежало мне и открылось мне здесь, в Сан-Бернардо, случайно, когда я начал писать.

Окна затворены. Полночь. В опустевшем доме ни звука.

Я встаю, ищу свечу: свет вот-вот погаснет. Мне не спится. Лечь и до рассвета вертеться в постели — мученье. Лучше сидеть вот так за писанием и попытаться закончить эту штуку. Хотя завтра тогда мне нечем будет себя занять.

Я вставляю свечу в подсвечник, чиркаю спичкой, зажигаю свечу. Меня колотит озноб. Мысли о Мадалене не дают мне покоя. Не могу снова сесть за стол и начинаю ходить вокруг него, словно заведенный. Сжимаю кулаки с такой силой, что ногти впиваются в ладони и, когда прихожу в себя, обнаруживаю, что губа у меня закушена до крови.

Устав бегать вокруг стола, я время от времени присаживаюсь к нему и записываю одну-две строки. И шепчу сам себе:

— Я растратил свою жизнь, я прожил ее впустую.

И уже равнодушнее:

— Я растратил свою жизнь впустую.

Думаю о Мадалене неотступно. Если бы мы могли начать все сначала... Но к чему мне себя обманывать? Если бы мы начали все сначала, произошло бы все то же самое, что произошло. Я не могу измениться, и это удручает меня сильнее всего.

Дети мастера Каэтано по-прежнему болеют и голодают в своей лачуге. Роза, с отвисшим от бесчисленных родов животом, трудится в доме, трудится в поле, трудится в постели. Муж ее с каждым днем все больше

превращается в никчемного лодыря. И все остальные обитатели фазенды такие же лодыри.

Если говорить начистоту, эти горемыки не вызывают у меня ни малейшей симпатии. Я понимаю, что жизнь их тяжела, и даже признаю, что во многом сам в этом повинен, но и только. Мы так далеки друг от друга! Когда-то мы жили одной жизнью, но наши пути давно разошлись.

Мадалена появилась здесь, полная добрых чувств и благих намерений. Но ее чувства и намерения натолкнулись на мою грубость и себялюбие.

Думаю, что не всегда я был грубым и себялюбивым. Сделала меня таким борьба, которую я вел всю жизнь.

А моя ужасная недоверчивость, повсюду подозревавшая врагов! И она тоже — следствие этой борьбы.

Жизнь, моя собственная жизнь искалечила меня. Превратила меня в урод. Сердце мое должно было обрасти шерстью, мозги отупеть, чувства очерстветь. И потому у меня огромный нос, огромный рот, огромные руки.

И Мадалена видела меня таким? Должно быть, я казался ей ужасающе безобразным.

Я зажмурился и даже помотал головой, чтобы отогнать свой собственный страшный образ.

Свеча догорает.

Меня снова охватывает какой-то сонный бред: непроходимые болота чудятся мне и где-то вдали тень оборотня.

За окном дьявольская темень и зловещая тишина. Но вот лунный свет проникает в окно и свирепый ветер гонит по земле сухие листья.

Что это? Кто там бродит? Нет, все давно спят.

Хоть бы малыш заревел, что ли... Даже сына я не люблю. Я — нищий.

Спит Казими́ро Лопес. Спит Марсиано. Подлые души!

А я вот так и буду сидеть здесь один, в потемках, долго-долго, пока усталость не сморит меня и я, уронив голову на стол, не забудусь на несколько минут.

РАССКАЗЫ



СОСТАВЛЕНИЕ
Л. БРЕВЕРН

СВИДЕТЕЛЬ



Судебное заседание все не начиналось. Гоувейя поболтал немного с судебным исполнителем, вышел на балкон и безучастным взором окинул опустевшую улицу. Внизу прошел знакомый; автомобиль губернатора свернул за угол дома; где-то рядом часы пробили десять. Гоувейя хотел было окликнуть своего приятеля, но его внимание отвлекли автомобиль и бой часов.

— Как все бестолково, неорганизованно!

Он был вызван в суд к десяти часам. Он пришел вовремя, даже несколько раньше. И что же? В грязном, заплеванном зале, кроме судебного исполнителя да слуги-негра, — никого. Черт знает что! Никакого порядка! Гоувейя выкурил сигарету, пересчитал птиц, парящих в облаках, и задумался о происшествии, из-за которого теперь был вынужден выступать как свидетель. Что, собственно, он знал? Без сомнения, он запутается в своих показаниях.

— Попал, как кур в ощиц!

Гоувейя вернулся в зал, сделал несколько осторожных шагов по щербатому полу, который подметал негр. Тяжело ступая, вошли двое служащих с папками под мышкой.

— На кой черт мне все это? — раздраженно пробормотал Гоувейя, едва сдерживаясь, чтобы не топнуть ногой по стертым скрипучим половицам.

Он чувствовал, как в нем все больше и больше поднимается раздражение, и снова вышел на балкон.

Излишняя болтливость в кафе — и вот ты в ожидании правосудия перебираешь в уме фразы свидетельских показаний, которые хочешь не хочешь, а давать придется. Как было бы хорошо избавиться от этой тяжелой миссии, вернуться домой и сесть за работу, начатую в ту самую злополучную ночь, когда все это случилось, Гоувейя зевнул и стал вспоминать... У него было много работы. Он читал, сидя за столом. Неожиданно в дверь заглянула жена и взволнованно крикнула:

— Кажется, убили соседа, что живет на углу.

До него не сразу дошел смысл этих слов. Он прервал чтение на полуфразе... Жена повторила. Гоувейя поднялся из-за стола. Подошел к окну. Увидел собравшуюся толпу, машину, голову полицейского, услышал крики, плач.

На следующий день о преступлении сообщалось в газетах.

Рассеянно глядя на проходившие внизу трамваи и автомашины, на вывески и рекламы, он думал о купленной накануне книге. Если бы знать, что в суде такая канитель, надо бы захватить ее с собой и читать здесь с карандашом в руке.

— Как все глупо!

Он отогнал мысли о предстоящих свидетельских показаниях, основанных исключительно на газетных сообщениях, поскольку сам он видел только толпу, машину и шефа полиции, слышал крики, шум. Выкурил несколько сигарет. Вот так-то, сеньор, вы во власти правосудия, как преступник какой-нибудь. Потом попытался уверенно ступать по старому, стертому полу, который ходил под ногами, как палуба корабля. Но вот послышались шаги на лестнице, он остановился и поздоровался с судьей, прокурором и адвокатами. Однако сделал вид, что не заметил доктора Пиньейро, который несколько неожиданно для Гоувейя стал относиться к нему недружелюбно. Почему-то вдруг, без всякого повода, доктор Пиньейро стал от него отворачиваться. Конечно, потеря не велика. Подумаешь, дохлый краб. Именно краб, и никто больше. Вероятно, кто-то напел Пиньейро какой-то чепухи, желая их поссорить, хотя он не сделал ничего плохого.

Судья сверил часы; вершители правосудия уселись за большой пыльный стол; конвоир привел двух обвиняемых; слушанье дела началось. Гоувейя решил гово-

рить как можно меньше, чтобы не запутаться в собственных показаниях и поскорее отделаться. Он почти предчувствовал, что допрос затянется; с самого начала была отдана дань формальностям, явно не предвещавшим ничего хорошего. Адвокаты листали документы и делали какие-то пометки, секретарь строчил на машинке. Вся эта процедура раздражала Гоувейю, он повторял про себя то, что должен был сказать, все больше и больше обнаруживая отсутствие логической связи в известных ему деталях. То, что он читал в газетах, явно не совпадало с тем, что говорила жена. Да и во всей этой истории было очень много нелепостей и темных мест. Гоувейя ломал себе голову, стараясь увязать между собой две версии, но это никак ему не удавалось, и он отбросил одну из них.

На душе у него становилось тревожнее. Как же во всем этом разберутся судьи? Он попытался успокоить себя. Ерунда какая-то, сплошной фарс, клоунада. Глупо волноваться. Скажешь ты или не скажешь полдюжины никому не нужных слов — приговор все равно будет вынесен.

Наконец слушание дела началось. Под перекрестным огнем вопросов и едких реплик, которые бросал доктор Пиньейро, тыча в воздух указательным пальцем, Гоувейя почувствовал себя жалкой козявкой. Пулеметной очередью слов доктор Пиньейро словно старался сбросить Гоувейю со скамьи, где он и без того примостился кое-как. Но вот жалкая козявка возмущенно подняла голову. (Глупая провокация. Доктор Пиньейро — просто краб.) Нахмутив лоб, Гоувейя засопел и с недовольным видом стал отвечать: фамилия — Гоувейя, место работы — газета, возраст — тридцать лет, умеет читать и писать. Вопросы казались ему явно не относящимися к делу. Они стесняли, даже унижали его. Он терялся и, ощущая щекотание в горле, чувствовал, что того и гляди раскашляется.

Но вот судьи перешли непосредственно к существу дела. Говорили они важно, выпрепне, пользуясь устаревшими оборотами и, как ему казалось, не всегда правильно употребляли слова. Гоувейя запылул. Судья немедленно призвал свидетеля к вниманию. Испугавшись, Гоувейя умолял совсем. Не иначе, там, где нужно было сказать «да», он сказал «нет». Наверное, поэтому судья посоветовал ему быть внимательнее.

Прокурор — человек разумный, который задавал несложные вопросы и явно торопился, — скоро передал Гоувейю в руки двух адвокатов. Первый откашлялся, хрюкнул, виновато улыбнулся, обнажив десны, и объявил, что вполне удовлетворен ответами. Второй высказал несколько педантичных замечаний по поводу выступления свидетеля. Гоувейя был ошарашен, у него было такое ощущение, будто его положили под пресс и сплющили. Припертый к стене улыбками первого адвоката и педантизмом второго, он чувствовал себя идиотом и, окончательно смутившись, понес какой-то вздор, проглатывая концы фраз и не обращая внимания на судью, который уже начинал терять терпение.

Тут на сцену вышел доктор Пиньейро. Он как-то сразу вырос, раздался в плечах и, выпятив грудь, раздувшуюся, как мехи или как зоб у индюка, стал в позу оратора. Затем, постояв минуту, он глотнул воздух — ну просто ни дать ни взять хамелеон. Звонкая булькающая речь, перегруженная длинными эпитетами, полилась, как из рога изобилия. Он задал вопрос — самый обычный вопрос, — но выразился так витиевато, что смысл ускользнул, потерялся, словно могильный крест при дороге, заваленный грудой лент и бумажных цветов. Потрясенный Гоувейя опустил голову, затем поднял ее и окинул взглядом присутствующих, несколько не сомневаясь, что увидит изумление на их лицах. Но так как все вокруг мирно беседовало, он решил, что просто не расслышал вопроса, и смущенно стал ждать. Когда же доктор Пиньейро все так же витиевато и выспрenne повторил свой вопрос, Гоувейя почувствовал себя совсем неладно. Он мог поклясться, что это простой набор слов, однако серьезные, хмурые лица сидящих в зале сбили его с толку. Выражение их было столь твердокаменным, что Гоувейю затрясло как в лихорадке. Он дважды выслушал одно и то же, видел торчащие во все стороны волосенки и огромный чванливый рот доктора Пиньейро — и ничего не понимал, ровным счетом ничего. Он старался понять хоть что-нибудь и растерянno вглядывался в лица окружающих, рассматривал мебель, сукно на столе, потолок. Гоувейя был убежден, что все вокруг считают его идиотом. Доктор Пиньейро, казавшийся ему доисторическим животным, чем-то вроде чудовищного краба, внушал ужас. Гоувейя попытался ответить уклончиво, неопре-

деленно, но неожиданно лишился голоса — и теперь все испуганно уставились на него. Это еще больше разволновало Гоувейю. Без сомнения, все слышали, что сказал доктор Пиньейро, и не могли понять, почему же молчал он, Гоувейя. В душе закипало бешенство. Дикари, сборище кретинов. Все они ничего не стоят. Тут Гоувейя увидел, что веки секретаря почти сомкнулись и желтоватые пальцы застыли на клавиатуре машинки.

— Позвольте закурить?

Получив разрешение, он стал искать по карманам сигареты. Ну, вот и хорошо. Теперь он курил, размышляя о купленной вчера книге и о доисторических животных. Табачный дым, застилал глаза Гоувейи, то округлял, то удлинял фигуру доктора Пиньейро. Очень даже возможно, что в далекие времена на земле обитали такие огромные крабы ядовитых расцветок.

В эту самую минуту краб поднял клешню и в третий раз повторил все тот же вопрос.

— Совершенно верно, — невпопад пробормотал Гоувейя.

Это прозвучало неожиданно, и судья сумел придать словам тот смысл, который нужен был им, вершителям правосудия.

— Вы меня не поняли, — очень тихо запротестовал Гоувейя, чем вызвал уже совсем неверное толкование своих слов, совершенно извратившее смысл. — О! Я не...

Гоувейя хотел протестовать, но у него не хватило решимости. Судебный процесс начинал пугать его. Он говорил обычным человеческим языком, а судья перелагал все, что он говорил, на какое-то помпезное, архаическое и вообще странное наречие. Нудный, явно несправедливый процесс затягивался, и Гоувейя, пытаясь всеми силами выбраться из создавшегося положения, все больше и больше запутывался. Руки у него были потные, уши горели, взгляд помутнел, и он плохо видел присутствующих в зале. Гоувейя чувствовал, что силы покидают его, он задышался и в отчаянии ерзал на стуле. Одно ему было ясно: что бы он ни говорил, все равно его речь переведут на какой-то странный, непонятный ему язык и смысл исказят. Однако он уже имел неосторожность открыть рот и теперь был вынужден продолжать. Кукла, марионетка в руках доктора Пиньейро.

Придя в себя, он наконец понял, что это мышеловка. Гоувейя возненавидел болтуна Пиньейро; у него чесались руки дать ему по физиономии. Он снова закурил и, наполнив легкие приятным дымом, старался удержать готовое сорваться с языка ругательство. Он ни черта не знал! Ни черта! Кое-что читал в газетах, кое-что слышал от жены. Какая подлость вызывать его свидетелем и задавать вопросы, касающиеся жизни подсудимых! Одним из них был хорошо одетый толстяк — по всей вероятности, человек богатый; другим — маленький негр, с подвижной физиономией. Гоувейя попытался понять, что могло быть общего у этих людей. Однако нить его рассуждений то и дело рвалась, и он с трудом соединял ее ускользающие обрывки. Вдруг Гоувейя поймал себя на том, что думает о клалбищенских блуждающих огоньках.

Он удивился такой странной ассоциации. Толстяк — без сомнения, богатый домовладелец. Негр — зачастую голодный — ночует под мостами. Гоувейя внимательно оглядел их с ног до головы. Почему именно его, Гоувейю, вызвали свидетелем по этому делу? Он рассматривал хмурые лица подсудимых. И все доктор Пиньейро: это он заставил его думать об этих ничем не интересных людях из чуждого ему мира. Толстяк морщил лоб, поджимал бескровные губы; негр щурился и, казалось, все время что-то жевал. Совершенно разные люди; занимаются каждый своим делом: один торгует, другой копается на свалках. Судьба случайно свела их у какого-то трупа. Затем опять разведет, и каждый пойдет своей дорогой.

Взгляд Гоувейи испуганно скользил по рядам кресел; он мямлил чепуху, которую тут же подхватывала пишущая машинка, и не переставая думал о ерундовых фактах, так назойливо повторяемых в газетных заметках. Гоувейя начинал понимать, в чьих-то интересах одни стороны жизни подсудимых были выпячены, а другие оставались в тени. Однако он стался понять, что же могло произойти между ними. Сорок лет назад вот этот сидящий здесь толстый господин ходил в школу в чистом бархатном костюмчике под присмотром служанки. По воскресеньям гулял в городских садах: резвился у фонтанов, лазал по деревьям и бегал по клумбам, играя в лопалки. Но если вдруг около него появлялся толстогубый чернокожий малыш, мать

тут же увлекала его в сторону, боясь инфекции и грязи. Однажды мальчик тяжело заболел. Отец его не знал, что делать, и приходил в отчаяние. Он молился богу и заискивал перед доктором, опасаясь, что визиты окажутся слишком дороги. Чадó поправилось, выросло, возмужало, было принято в лицей, стало частым посетителем домов терпимости и участником попоек. Потом остепенилось, обзавелось семьей.

Совсем иную жизнь вел негр. Кривоногий и губастый, он жил впроголодь, спал прямо на земле, воровал все, что плохо лежало, и был на побегушках у проституток.

Какая же сила свела их?

Судья дремал, отупевшие от жары адвокаты зевали, прокурор разрисовывал промокашку, а звуки пишущей машинки становились все глуше и глуше.

— Иначе и быть не может, — сказал Гоувейя.

«И-на-че-и-бы-ть-не-мо-жет», — выбивая букву за буквой, застучали пухлые пальцы по клавишам.

Случайно слетевшие с уст Гоувейи слова не были ответом на заданный ему вопрос. Он просто его не слышал. Однако это было как раз то, чего от него добивались. Доктор Пиньейро даже растерялся, а прокурор одобрительно закивал головой. Сам же Гоувейя был целиком во власти своих мыслей: жена услышала крики в соседнем доме, на улице собралась толпа, хрипло загудел автомобиль, и появилась лысая голова шефа полиции. Кровь убитого струйкой стекала в водосток; взволнованная толпа шумела, сигналила полицейская машина, кривоногого негра с отвисшей губой вели под конвоем солдаты. Все это имелось в деле, но почему-то теперь казалось, что эта история случилась давно, была изложена каким-то мертвым языком и утратила свой смысл. Фразы были тягучие, бездушные, расчетливые. Странное преступление, темные непонятные личности, застывшие как изваяния вокруг стола. Вот сейчас они разойдутся. Толстяк будет оправдан; ему посыплются поздравительные телеграммы. Иначе и быть не может. Он будет обучать хорошим манерам своих детей, ссориться с женой, содержать красивую любовницу, уверенно критиковать газетные статьи. Не может быть иначе! А негр будет осужден на несколько лет тюрьмы, и адвокат не подаст на обжалование.

— Напрасная трата времени.

Перестала стучать пишущая машинка, закрылись папки, судья встал. Встряхнувшись, Гоувейя схватил шляпу и, не попрощавшись, скользнул к лестнице и вышел на улицу. Какой-то прохожий наступил ему на ногу. А, пустяки. Главное, он был свободен. Гоувейя взглянул на часы. Четыре. Сколько времени пропало впустую! Уже четыре часа, а он еще не обедал. Он был измучен, ведь ему все время приходилось говорить громко, напрягая голосовые связки. А доктор Пиньейро, который вначале напоминал ему краба, превратился в удава. Он сдавливал его своими упругими кольцами, толкал Гоувейю то туда, то сюда, а сам, холодный и гибкий, свертывался клубком в тени. Гоувейя содрогался, его тошнило, он чувствовал себя потерянным. Ему казалось, что он до сих пор идет по ветхим, скрипучим половицам в суде. Как было бы хорошо, если бы ему вновь наступили на ногу, да посильнее.

— Извините, извините, пожалуйста.

— Ничего, ничего, не беспокойтесь.

Да, вот так же через несколько месяцев краснощекий, потный толстяк будет шествовать по улицам города, наступая на ноги прохожим. Уверенно постукивая каблуками и занимая своей персоной слишком много места на тротуаре, он едва заметным кивком головы поприветствует доктора Пиньейро, а доктор Пиньейро угодливо поспешит ему навстречу, чтобы пожать руку. А негр? А негр в грязной камере много лет будет жрать тошнотворную похлебку и гнить на драной рогоже, кишасей клопами. Тюремный священник будет разучивать с ним молитвы и терпеливо и настойчиво спасать его душу.

— Разве может быть иначе!

Четыре часа. Гоувейя решил зайти в ближайший ресторан. День потерян... Он прибавил шаг.

— Через несколько лет...

Он прервал свои размышления — нужно было поесть. Солнце пекло спину, темный зал со щербатым полом был далеко, и образы вершителей правосудия постепенно меркли. Гоувейя вспомнил живущую в его доме англичанку, ее красивые глаза и вазу в ее комнате, всегда полную цветов. Подумал о своем соседе Фернандесе — либерально настроенном чиновнике и эсперантисте, который каждое утро просил у Гоувейи газету, чтобы быть в курсе событий. Нужно купить кое-что

из мебели,— сколько раз он откладывал это дело из-за недостатка денег.

Гоувейя шел, низко опустив голову. Вдруг лицом к лицу он столкнулся с каким-то багровым толстяком. Тот же морщинистый лоб, те же складки в уголках рта. С предельной ясностью вспомнил Гоувейя судебное разбирательство: шелест бумаги, стук пишущей машинки, вышедшие из употребления слова, скуку и огромного краба с поднятой клешней. Гоувейя побледнел, дрожь пробежала по его телу, он прижался к стене, испытывая тошноту и слушая глухие удары сердца.

АРЕСТ ЖОЗЕ КАРМО ГОМЕСА



В небольшом доме на улице Кастро Алвеса доня Аурора Гомес, дочь покойного майора Кармо Гомеса, отложила газету, вконец расстроенная, ощущая комок в горле, удушье и тошноту. Взбунтовалось все ее нутро. Она вышла в коридор и направилась в столовую. Там, умиротворив желудок и восстановив дыхание, облокотилась на подоконник, посмотрела вправо, на заднюю стену церкви, и влево, на низкую крышу местного комитета интегралистов¹, из-за которой выглядывала верхушка мачты, где в свое время развевался национальный флаг. В воскресенье в этот час церковь, конечно, открыта, но флага на мачте нет.

Доня Аурора вспомнила о газете, прочитанной несколько минут назад, и снова тоска сдавила ей сердце и все нутро. Она ушла в ванную и закрыла за собой дверь. И дом, построенный фирмой Мейер, дом, который стоил майору Гомесу долгих и томительных лет терпеливой экономии, казался покинутым, совсем пустым, как будто в нем не было никого, кроме канарейки и кота. Канарейка купалась в поилке, кот дремал в кресле. Прутья клетки обеспечивали мир и согласие между ними.

¹ Партия интегралистов была создана в Бразилии в 1934 году по образцу немецкой фашистской партии; распушена диктатором Жетулио Варгасом в 1937 году (подробнее см. в предисловии).

А вот между доной Ауророй и ее братом мира и согласия не было. И один из них пожрал другого.

Перезвон колоколов, выкрики бродячего торговца, урчание кота, трепыханье купальщицы-канарейки, неясный разговор где-то по соседству, бульканье кипящей на кухне кастрюли. Но вот зашумела вода в ванной, и немного погодя дверь ее отворилась.

Дона Аурора мягкими шагами вошла в столовую, отирая руки о волосы, шевеля выпцветшими губами. Зябко поежилась и, чтобы согреться, села у стола, в квадрате солнечного света, падающего из окна. Погладила еще влажной ладонью кота, посмотрела в окно, но увидела только куст роз у садовой стены. Встала, опираясь на стол, решила взглянуть, что там делается на улице, но боязливо отступила. Церковь была старой и добротной постройки, а вот дом напротив обветшал, явно начал разрушаться, и члены комитета спрятались кто куда и сидят забившись, как мыши в норах.

Звон колоколов немного ее успокоил. Вот люди идут к мессе помолиться за нее: дочери сержанта, косая учительница, жена полицейского чиновника, близорукый кассир, двое прилизанных студентов, что всегда неразлучны, инструктор стрелкового спорта. Когда дона Аурора думала сразу обо всех этих людях и смотрела на них как бы издали, они казались ей способными на самопожертвование и подвиг; но если подойти поближе и приглядеться попристальней — каждый оказывался мелочным эгоистом. Кассир и дочери сержанта думают только о себе. А эти два студента с прилизанными волосами, неужели они действительно отвержены ужасному пороку, который им приписывают? Дона Аурора тряхнула головой и отогнала от себя неприлично дерзкое суждение. Зачем выискивать блох на своем ближнем? Они ведь все братья. Именно братья. Тут она вздрогнула от неприятного воспоминания, которое тотчас угасло, посмотрела на церковь и отвлеклась на минуту от докучливых мыслей. Перевела взгляд налево, увидела голую мачту и закрытую дверь комитета интегралистов. Слабое ощущение чего-то надежного, порожденное видом церкви, улетучилось.

— Ах!

Она вздрогнула, почувствовала себя покинутой, одинокой, ничтожной как мышь и окруженной много-

численными врагами. Снова пришли на ум газетные заметки: люди скрываются, их дома обыскивают, на имущественные документы налагается арест, некоторые даже эмигрируют — Содом и Гоморра, спаси нас господь! И бесконечные списки, чуть ли не страницами. Дона Аурора заломила руки и поспешно отошла от окна: а вдруг соседи наблюдают за ней!

Погладила кота. Чтобы успокоиться, стала твердить себе, что у нее много друзей, целый легион друзей. Она не знала, сколько это — легион, но, услышав это слово в речи одного из партийных вождей, поняла, что оно, должно быть, означает: множество, сила. Легион друзей. Она верила в понятия, не определенные точно. По-немногу вера ослабела, сила и число стали поменьше, далекий и непонятный легион распался, и остались двое прилизанных студентов, близорукий кассир, инструктор, дочери сержанта, косая учительница да жена полицейского служащего. Она хорошо знала этих людей и понимала, что никто из них ей не поможет. Мысль о том, что вчерашние добрые друзья теперь могут скомпрометировать ее, незаметно вошла в сознание, прояснилась и утвердилась там и теперь сверлила ее мозг.

Доне Ауроре что-то понадобилось в спальне: у зеркального шкафа она остановилась и увидела в зеркале свое бледное и взволнованное лицо. Если бы кто-нибудь ее сейчас видел, то без труда заметил бы ее смятение. Сделала несколько испуганных шагов к двери, заперла ее, склонилась к изголовью постели, вытерла вспотевшие ладони о покрывало. Вернулась к шкафу, остановилась в нерешительности:

— Как же это я не подумала!

Почесала лоб, подбородок, прислушалась. В городе, видно, только и разговоров, что об этих ужасных событиях¹. И рано или поздно за ней придут, повлекут куда-то, заставят много суток сидеть на стуле полуголодной и полусонной и еще отвечать на провокационные вопросы. К горлу ее подступила ташнота, ноги ослабели. Вадор! Она потеряла глаза и глубоко вздохнула.

¹ Имеется в виду попытка государственного переворота, предпринятая интегралистами в 1937 году (см. предисловие).

Тут же вспомнила о том, что собиралась сделать. Открыла шкаф, сняла с вешалки форму. Сердце ее заняло, глаза наполнились слезами. Белую юбку закрыла туманная пелена, зеленая блуза показалась выпцветшей, черная сигма на рукаве расплылась¹. Глотнув, чтобы сдержать рыдание, доня Аурора справилась с волнением, расстелила форму на кровати, нежно посмотрела на нее и погладила рукой. И сразу встревожилась: что она делает! Вдруг кто-нибудь войдет в дом и без стука откроет дверь ее комнаты! Ее застанут в процессе общения с этими компрометирующими атрибутами. Аккуратно сложив вещи, завернула их в полотенце и сунула в нижний ящик комода под наволочки и покрывала. Потом заперла ящик, а ключ спрятала на груди.

Успокоилась ненадолго. Вышла из спальни, прокралась по коридору и, подойдя к забранному решеткой окну, не спеша отворила его.

— Теперь их не найдут.

В сумбуре мыслей она сама не знала, имеет ли в виду руководителей мятежа или юбку с блузой, завернутые в полотенце и спрятанные в ящик комода.

Увидела на улице прилизанных студентов, испугалась. Встала, чтобы отойти от окна, но тут же устыдилась: отречься от товарищей — низко. Отвернувшись от окна, не желая, чтобы ее заметили. Через минуту, одолеваемая любопытством, глянула краешком глаза и увидела, что молодые люди уже прошли мимо и заворачивают за ближний угол. Возмутилась. Эти наглецы, кажется, избегают ее. Непорядочно. Где же солидарность? Трусы. Прикидываются невинными овечками, боятся поздороваться с ней, будто у нее какая-нибудь заразная болезнь. Но не такие уж они невинные. Она содрогнулась, подумав о допросах. Там такой ужас, от них ничего не утаишь. Если с ней будут грубо обращаться, истязать, что тогда? Знает она, правда, совсем немного, но хватит ли сил не проговориться?

По другой стороне улицы прошел еще один из ее друзей, чиновник полиции, и снова доня Аурора получила удар в сердце: этот стыдливо улыбнулся, слегка

¹ Зеленый верх, белый низ — форма интегралистов; греческая буква сигма (знак суммы в математике) — символ интегралистов.

наклонил голову — и все. Если бы он притронулся к иллье и подошел поговорить с ней, она совсем бы успокоилась, выказала бы твердость не в пример тем идиотам, которые отворотили от нее нос. А может, и узнала бы, что нового в навороте событий. Иногда болтовня полезна. Говорила бы спокойным тоном, как будто ее это все не касается, и попросила бы помочь двум-трем знакомым, упомянутым в газете. Нет, просить ни за кого не стала бы, это неосмотрительно.

Обрывки противоречивых мыслей промелькнули и исчезли: чиновник пошел своей дорогой по теневой стороне улицы, а дона Аурора вернулась к действительности, ощущая холодок в спине. Обратила свои мысли к пресвятой деве, стала оправдываться. Она-де ничего не понимает в этой неразберихе: нападение на президентский дворец, на казармы, на частные дома, стрельба, стычки, убитые — прямо-таки конец света. Она осуждает тех, кто устроил эти беспорядки, они явные преступники. Разве она связана с ними? Нет же. Она, правда, за революцию. Вернее, была за революцию. Сейчас она вообще ничего не хочет, а если на прошлой неделе и мечтала, то совсем об иной революции, непохожей на другие, о перевороте без смятения и риска. Без кровопролития, разумеется, не обойтись. Она и раньше иногда грешила ожесточением на демонстрациях и митингах. Кровь? Да, кровь врагов родины!

Поворот, который приняли события, не входил в планы доны Ауроры. Ее предали и те, кто сеял на улицах смятение и страх, и само правительство, которое из всех сил держалось за кормило власти и не желало пасть, проявляя непонятное упрямство. Недовольна она была и своими вождями за то, что они вот не предотвратили безобразия, а ведь на собраниях били себя кулаком в грудь и кричали так громко, что не поверить им было просто невозможно.

Дона Аурора закрыла окно, отошла в глубь комнаты, в расстроенных чувствах прилегла на кушетку. Старые пружины протестующе закрипели. Ее мучил страх. Доверять нельзя никому. В мыслях она путала вождей «Сигмы»¹ с главарями мятежа. Успокоила себя мыслью о том, что эти последние — некто иной, как

¹ «С и г м а» — неофициальное название партии интегралстов, употреблявшееся ее членами (см. примечание к стр. 171).

коммунисты, агенты Москвы, под личиной членов «Сигмы» проникшие в организацию с целью посеять рознь в ее рядах.

Полицейский чиновник прошел мимо и не пожелал подойти к ней. Видимо, его жена оказалась в затруднительном положении, и он пытается спасти ее за счет того, что стал слишком принципиальным, по отношению к другим, разумеется. Так, мол, не будет подозрений. Дона Аурора с горечью подумала о друзьях, что внезапно проявляют криводушие и слабость, трусливо отрекаясь от тебя в трудную минуту. Но горечь эта мешалась с восхищением и страхом. Какое-то непонятное уважение испытывала она, сама не зная почему, к тем людям, которые умеют выбрать нужные взгляды, нужное слово, нужный момент для рукоплесканий. А она, бедняжка, сдалась раньше времени. И теперь горевала, что не сумела высказаться, крикнуть во весь голос, что осуждает беспорядки и почитает власть имущих.

Дона Аурора занялась собственной совестью, вспомнила далекое прошлое, отца. Майор Кармо Гомес, толстяк низенького роста, был ярым консерваторм. Он осуждал своего сына Жозе, который не искал себе приличной должности, а все читал подрывные брошюры. Пытаясь обратить заблудшего на путь истинный, майор истощил весь запас доводов и увещеваний, а когда они не возымели действия, стал грозить:

— Ты кончишь тюрьмой, Жозе.

Сын слушал, молчал и продолжал увлекаться нелегальными книжками. Натыкаясь на тихое упрямство, отец волновался, произносил горячие монологи, пытался и наконец варывался:

— Ты кончишь тюрьмой, Жозе!

Дона Аурора столько раз слышала эту фразу, что пришла к твердому убеждению: Жозе кончит тюрьмой.

Майор скончался за несколько минут. Вышел из себя, увидев какую-то брошюру с серпом и молотом на обложке, яростно обрушился на эту мерзкую писанину, почувствовав недомогание, лег в постель — и аневризма его прикончила. На похоронах дона Аурора, поминутно падая в обморок, перемежала рыдания и обрывки молитв неуместными для погребальной церемонии укорами в адрес брата, называя его чуть ли не отцеубийцей.

— Что теперь будет со мной! — причитала она без конца.

Оснований для этого эгоистического горестного вопля, собственно, не было. У нее остались кое-какие сбережения, дом, страховая сумма и пенсия за отца. Жозе уже получал гонорары в газетах, дома, как правило, не обедал и забот о себе не требовал. Когда он появлялся на улице Кастро Алвеса, то неделями стучал на машинке, листал свои проклятые книжки, комкал и рвал напечатанные листы.

Дона Аурора с опаской наблюдала за этой непонятной работой; ее раздражало, что брат бледен и замкнут, говорит тихо и немного или вдруг разразится непонятной тирадой. В такие моменты общения с братом она слушала его, открыв рот от изумления, и ей казалось, что он ее обманывает, что только притворяется слабым и болезненным.

Внезапно разразилась революция 1930 года¹. Девушка, еще не оправившаяся после смерти отца — она не сняла еще траура, — обезумела от страха. Ей мерещились бомбежки, она не знала ни сна, ни покоя и дрожала, как промокший цыпленок. В мозгу ее рождались смутные и устрашающие картины бедствий, они принимали причудливые формы и надвигались на нее со всех сторон. Какой-то ломовой извозчик крикнул, что скоро начнут разрушать церкви. В церковь дона Аурора ходила по привычке, как в любое другое место, но теперь она жила в страхе, и церкви вдруг стали казаться ей священными убежищами. Косая учительница шепотом поведала ей, что ходят слухи о грабежах и насилиях. Дона Аурора тщетно искала себе уголок, где можно было бы укрыться. Потерю имущества она еще как-то могла себе представить, но покушение на ее столь долго хранимую девственность — это уж нечто вовсе невообразимое.

Вспоминались ей уроки истории Бразилии. Та учительница не косила, разве что немного гнусавила. «Кто был первым генерал-губернатором Бразилии?» Сколько перемен произошло со времени правления этого перво-

¹ Революция 1930 года — государственный переворот, в результате которого был смещен диктатор Вашингтон Луис и к власти пришли представители буржуазии, использовавшие революционный подъем народных масс. Конечный результат переворота — диктатура Ж. Варгаса (1930—1945).

го генерал-губернатора! На литографиях изображались ужасные индейцы, голые, с продырявленными губами. Нынешние революционеры, выходит, не очень-то от них отличаются: грабят, жгут, разрушают. И донна Аурора мучилась бессонными ночами. Она почти не ела, голова у нее кружилась, кружилась, будто шея вот-вот скрутится в жгут. Стены спальни постепенно исчезали, вокруг кровати плясали, гримасничая, голые индейцы. Потом они набрасывались на ее безвольное тело, истязали его, терзали, рвали на части. Она кричала — вотще. Наутро с трудом поднималась с постели, в расширенных от ужаса глазах еще стояли видения ночного кошмара. Дрожащими руками ощупывала живот, шептала что-то, шевеля побелевшими губами.

«Кто был первым генерал-губернатором?» Она проговорила заполнить промежуток времени, отделявший ее от этого первого генерал-губернатора, но он оставался темным, там была только бесформенная груда фактов, в свое время толком не усвоенных, а теперь и вовсе забытых. Пыталась вспомнить о других революциях. Страх не давал ей собраться с мыслями. Надо было бежать, но куда? И вот однажды донна Аурора распахнула дверь и пошла куда глаза глядят в поисках убежища. Брат нашел ее далеко от дома. Она ничего не соображала и покорно позволила увести себя домой. Слышала, как он ей что-то советовал, как встряхивал ей руку, но не вникала в смысл его слов и не сопротивлялась.

С того дня у нее наступила нервная депрессия; она часами сидела неподвижно, простоволосая и с нечистыми зубами, безразличная ко всему, словно отрешившись от мира; она покорно ожидала мученичества и даже хотела, чтобы оно поскорее пришло и на этом бы все кончилось. В ее подавленном сознании произошел сдвиг: теперь она порицала правительство. Если бы оно отдало власть повстанцам, у тех не было бы причин злобствовать, и они, скорей всего, проявили бы великодушие.

В таком состоянии отрешенности и оцепенения, увядающая и постаревшая, услышала она о победе восставших. С трудом и не сразу пришла в себя, вернулась к жизни, но в душе остались беспокойство, страх перед новыми бурными событиями, ненависть к неизвестным

и певидимым врагам, которые заставили ее так страдать.

Прошло немало времени, и вот как-то вечером зашла к доне Ауроре косая учительница и просидела часа два, расхваливая дом, сад, мебель, портрет майора Гомеса, что висел в гостиной рядом с сердцем Инсусовым. Хозяйка слушала восхваления со скромной и радостной улыбкой: приятно, когда тебе завидуют. Да, у нее есть где приклонить голову, никому она не в тягость.

— Вот именно, — подхватила учительница, — независимость!

Сама она в худшем положении: вынуждена унижаться перед начальством и перед домовладельцем, но независимость других она уважает. В конце концов, дом этот не с неба свалился, а был построен майором. Дона Аурора силилась понять, к чему клонит учительница, а та продолжала смущать ее:

— Я считаю, что это просто грабеж. Они обещают лекарства, врачей и школы для детей. Но вы-то не больны, и детей у вас нет. Так разве справедливо отнимать у вас дом? Нет, конечно.

Дона Аурора, растерявшись, защищала свои права примерно так:

— Дона Жулия, мне кажется, вы ошибаетесь. У нас, слава господу, никто наши права не оспаривает. Бумаги в порядке, все налоги в префектуру заплачены. Дом наш, мой и моего брата Жозе.

— Ах, ваш брат...

Дона Жулия наморщила лоб и кисло улыбнулась. А дона Аурора встревоженно допытывалась:

— А что, дона Жулия, скажите...

Косая учительница поджала губы и воздержалась от объяснений, дабы не вносить раздор в семью.

— Мы живем в ужасное время, дона Аурора.

— Это верно. Но вы ведь что-то знаете, не так ли? Вот насчет нашего дома. В чем тут дело?

Дона Жулия пояснила, что это общая беда. Речь идет не именно об их доме, а обо всех домах, которые те хотят забрать себе.

— Кто это — те?

— Коммунисты. Если этот сброд возьмет верх, вы пойдете работать на фабрику и будете ходить по улице в стоптанных туфлях на босу ногу.

— Ну уж нет! — успокоенно вздохнула дочь майора. — А я было испугалась, когда вы говорили про все это. Не возьмут они верх. Бог не допустит.

— Ну и слава богу.

Прощаясь, учительница произнесла еще несколько туманных фраз, и среди них — те самые, что говорил майор, когда напал на сына, осуждая его губительные склонности.

— Так оно и есть, дона Жулия. Мир перевернулся.

Самоубийства, голод, разрушения. Дона Аурора забыла, что в 1930 году ей уже предсказывали все эти ужасы, но ничего такого не было; она снова ударилась в панику, бросилась в молельню, призвала всех святых, просила божью мать оградить Бразилию как бы санитарным кордоном. Сдружилась с учительницей и из разговоров с ней о том о сем узнала, что такой кордон существует, надо его только укрепить.

— Вы думаете, они, эти самые, нас спасут? — недоверчиво воскликнула дона Аурора. — Ну, не знаю. До сих пор я считала это игрой, чем-то вроде карнавала.

— Вы ошибаетесь, дона Аурора. Откройте глаза. Вы живете как затворница... Будущее Бразилии — зеленое. Это цвет наших лесов, цвет надежды¹.

— Как вы сказали, дона Жулия?

Предварительная беседа включала в себя изложение тоталитарного мировоззрения. Дона Аурора испугалась и пожелала узнать, участвует ли косая учительница сама во всем этом или же популярно излагает общие места. Та поведала, что есть начальные кружки, школы, оружие, деньги, влиятельные люди из коммерческих кругов. Дона Аурора одобрительно кивнула головой:

— Что ж, это другое дело.

Произошли волнения в Рио-Гранде-ду-Норте, затем — восстание Третьего полка². Газеты изобиловали подробностями. И дона Аурора быстро уступила тем, кто обращал ее в свою веру. Долго не размышляя, видя повсюду врагов и страстно желая уничтожить их, она стала ревностным и непоколебимым членом партии

¹ Намек на зеленые рубашки интегралистов.

² Имеются в виду выступления левых сил, объединившихся в 1934 году в Национально-освободительный альянс для борьбы против диктатуры Ж. Варгаса.

интегралистов. Известия об арестах вызывали у нее мрачное удовлетворение:

— Дурную траву — с поля вон.

Надо заполнить тюрьмы, набить их до отказа, чтобы начисто изъять дурное семя. А поскольку дурным является любое семя, произрастающее за пределами зеленой нивы¹, доня Аурора стояла за сокращение населения страны. Лучше так, чем допустить опасное и вредоносное перемешивание. Предстоит вырвать много плевелов, при этом неизбежны издержки и потери, но здоровых семян останется достаточно, и они дадут обильный урожай. Доня Аурора мечтала о новом человечестве, думала о нем с нежностью, а противников и равнодушных ненавидела всей душой. Нейтралитет преступен, когда силы зла вырвались на свободу и грозят разрушить незыблемые устои.

Моральные представления доня Ауроры претерпели существенные изменения. Хорошие люди — это те, кто идет рядом с ней, дурные — те, кто далек от нее. Кто снял зеленую рубашку, тот утратил множество добродетелей, кто надел ее — очистился от грехов, даже если раньше был жуликом. Вне «Сигмы» спасения нет. Все люди делятся на друзей и врагов.

В пылу вербовки новых сторонников доня Аурора забывала о домашних делах, читала только пропаганду своей корпорации; пренебрежительные жесты вербуемых, ироническая улыбка или пожимание плечами приводили ее в неистовую ярость.

Но как-то на параде услышала замечание: «Сколько безобразных людей!» Оглядев ближайших сотоварщей, увидела среди них мужчин с маленькой головой, горбунов, желтых, высохших девиц с тупым выражением лица, волосатого дегенерата лет восьмидесяти. Как поверить, что эти хилые тела несут в себе семя грядущих поколений сильных и красивых людей? Значит, в идеальном товариществе есть изъяны, заметные тому, кто не пылает энтузиазмом. И доня Аурора остыла, сникла и стала опасаться, что тоталитарного принципа и других формул недостаточно, чтобы разделиться с анархизмом, коммунизмом, демократией — со всеми этими смутно представляемыми проявлениями социального зла, которые она путала. Эти злые силы

¹ То есть вне фашистского движения.

она ощущала повсюду: в газетах, на спиритических сеансах, в масонских ложах, на фабриках, в магазинах, в школах, в самбах и макумбах¹, в обрывках разговоров, услышанных на улице. Зачем бороться? Нужно было бы перекрыть все пути распространения этой заразы, но такая задача доне Ауроре с улицы Кастро Алвеса не по плечу.

Несколько дней она провела в полном бессилии что-либо предпринять и представляла себе, как красная волна растет, все затопляет, все оскверняет. Эти звери осквернят и ее. Она закрывалась в спальне, ложилась в постель, давясь слезами. Ощущала слабость, прерывисто дышала, и ноздри ее дрожали, когда она мысленно видела себя уступающей надругательству. Какая она несчастная! На улице Кастро Алвеса ей не жить. Они завладеют ее домом, сломают мебель, разобьют сердце Иисусово, портрет майора. И дочь майора будет бродить по городу, ища пристанища где-нибудь на задворках или в подъезде, задыхаясь от дыма пожарищ, оборванная и голодная, обезумевшая от отчаяния. Она с трудом отгоняла от себя обескураживающие видения, обвиняла себя в малодушии.

— Всякое уныние — предательство, доне Аурора. Разве не так?

— Я говорю себе то же самое, доне Жулия. Если мы падем духом, они соберутся с силами и двинутся на нас. Нельзя давать им послабления, я всегда это говорила.

И доне Аурора собралась с духом, взялась за газеты, стараясь уяснить себе, что делается в мире. Недовольно морщила лоб: неправда, что между событиями за рубежом и внутри Бразилии есть какая-то связь².

— Слава богу, у нас ничего такого нет и в помине.

Она верила в репрессии, но в конце концов число обвиняемых стало ее беспокоить.

— Подумать только, какая напасть! Кто бы мог предположить? Кругом зараза.

В этот период ее и начала мучить мысль о том, что рядом с нею дышит тем же воздухом и получает свою

¹ Макумба — негритянский религиозный обряд.

² Видимо, речь идет о возникновении фашистского движения в Бразилии (1934 год) в связи с приходом Гитлера к власти в Германии (1933 год).

часть отцовского наследства заблудшая овца — Кармо Гомес-младший. Брат и сестра общались мало, почти ничего друг о друге не знали, но, хочешь не хочешь, оба носили фамилию Кармо и были детьми майора, совладельцами дома, построенного фирмой Мейер.

— Он позорит наш род, — делилась дона Аурора с канарейкой.

Род Кармо давно распался, родственники затерялись где-то в глубинных районах страны и упоминались лишь для усиления патетики: Жозе позорит седые головы предков. Что за чертовщину он там пишет, запершись в своей комнате? В последнее время газеты стали платить ему за его вздор. У нее в голове не укладывалось, что за такие вещи еще и платят. Она привыкла смотреть на брата как на человека бесполезного. Теперь его бесполезность пошла на убыль, машинописные страницы означали деньги — и суждение о брате стало меняться. Она видела в нем как бы двух разных людей: один, молчаливый и замкнутый, каким брат бывал дома, заслуживает презрения; другой, тот, что печатается в газетах, стал человеком опасным. С этим другим она должна бороться. В ее памяти всплывала недомолвка доны Жулии: «Ваш брат...», потом пророчество отца: «Ты кончишь тюрьмой, Жозе». Она пробовала пожалеть брата, простить несчастного: слишком уж суров был отцовский приговор. Даст бог, исправится, бедняжка.

Эти добрые намерения понемногу таяли. Нельзя оставлять в покое преступников, пока они не станут на путь исправления. Дона Аурора корила себя, снова и снова обращалась к привычной жвачке — идее о доблести тех, кто сумел подавить свои чувства и публично выступить с жестоким, но необходимым требованием. Если каждый станет хранить в своем доме источник заразы, во что выродится «Сигма»?

В своем доме. Вот опять вопрос о доме. Спрашивается, зачем брату отдавать его агентам Москвы? Во имя чего? Какой ему интерес? К тому же, если бы дом принадлежал ему одному, это было бы только глупостью, но ни у кого не было бы претензий; но так, за здорово живешь, предлагать им и ее половину — нет уж, извините, это низость, это кража.

В отсутствие Жозе она заходила в его комнату, обпихивала одежду, обыскивала карманы, рылась в ящи-

ках стола. Одно безобразие: книги на иностранном языке, подозрительные письма, стопка чистой бумаги.

— Вы подумайте! Сколько еще мерзостей тут будет понаписано!

Как это там не понимали, что Ж. Кармо Гомес — смутьян. Ж. Кармо Гомес. Этому дурачку его имя придает важность, оно звучит как у порядочных людей. Десять лет назад его звали просто Зезиньо. В детстве он слышал немало окриков и нередко получал затрещины от отца и сестры. Потом укрылся от них, с головой уйдя в занятия. Дона Аурора пробовала вспомнить о Зезиньо с нежностью — и видела только что-то вроде ненарядной и скучной куклы. Сестра была намного старше брата, они никогда не играли вместе. А теперь Зезиньо — Ж. Кармо Гомес.

«Ты кончишь тюрьмой, Жозе». Суров был майор. Если бы он не осудил сына так строго, может, несчастный стал бы следовать благим примерам.

Капитан Франса запечатлел в своем мозгу с точностью граммофонной записи все перипетии войны с Парагваем¹; капитан Баррос сверх меры восхищался Наполеоном. Как-то вечером они затеяли горячий спор о тактике и стратегии, и майор, желая их утихомирить, предложил им сыграть партию в шахматы. Капитан Баррос переставлял фигуры и продолжал задирать партнера, настаивая, чтобы тот дал определение стратегии. Зезиньо застегнул пиджак на все пуговицы, съезжился в нем, как черепаха в панцире, и курил сигарету, пряча огонь в кулак. Ни дать ни взять мальчишка, который курит потихоньку от родителей. Когда к нему обращались, вздрагивал, смущенно улыбался, отвечал невпопад. Капитан Баррос не выдержал:

— Да распрями ты, парень, спину. Займись гимнастикой, выправишься.

Зезиньо не выправлялся, и майор терял надежду:

— Ты кончишь тюрьмой, Жозе.

Дона Аурора, нервно потирая руки, огорчалась и вздыхала. Не надо было отцу говорить такие слова. Из-за них-то юноша и свихнулся. Пожалуй, бомбы он не изготавливает и в стычках не участвует: не знает химии и храбростью не блещет. В час, когда восстал Третий полк, он был дома, спал. Стало быть, он не сражается

¹ Очевидно, имеется в виду война Бразилии с Парагваем 1865—1870 годов.

с оружием в руках, его задача — сеять ложь и подрывать священные традиции.

И зачем бы ему вступать в партию коммунистов? Пусть там всякий сброд показывает зубы, ладно; но больно видеть, как сын майора Кармо служит этим безбожникам и голодранцам. Дона Аурора пыталась втолковать ему, что это безумие, что нет никакого смысла жертвовать собой и терять дом. Если трудовой народ завоюет власть, Зезиньо и подобные ему идиоты умрут с голоду или же попадут под расстрел. Эту мысль она подхватила на митинге, но была уверена, что всегда так думала.

Доне Ауроре было жаль брата. Если бы он послушался совета капитана Барроса, стал бы человеком. Друзей не слушал, а вручил свою судьбу обманщикам, которые играют на его тщеславии. Отними у него тщеславие, и он снова превратится в Зезиньо, глупого мальчика, который не знает, куда девать руки, вечно спотыкается и нуждается в строгости. Его постоянно приходилось наказывать, чтобы он держал спину прямо, не хватал нож за лезвие, не бежал сломя голову под колеса автомобилей.

Теперь он вырос — и остался таким же неловким и неосторожным, сам себе ищет беды. Его наверняка расстреляют, если коммунисты возьмут верх. Несчастный. Он взрослый и сам себе хозяин, защитить его некому; нет отца, который надрал бы ему уши и образумил: «Сядь и подумай». Работает он сверх меры, а станет не нужен — расстреляют. Поставят к стенке Ж. Кармо Гомеса, его сестру, капитана Франсу и капитана Барроса. И доне Ауроре стало жалко их всех. Разумно ли оставлять на воле сумасшедшего, чтобы он жег и убивал? Ж. Кармо Гомес, правда, сам не поджигает и не убивает. Но он только тем и занят, что восхваляет поджигателей и убийц. Искренне восхваляет. Но это лишь усугубляет его вину. Делай он это из корысти, какие-нибудь крохи добра, наверное, все же освещали бы его душу; будучи уверен, что творит добро, он от своего не отступится.

И вот дона Аурора пришла к выводу, что единственный способ помочь брату — это держать его за решеткой. Много дней эта мысль вертелась в ее мозгу. Соображения экономического характера она с негодованием отвергла: о деньгах ей и думать противно.

А правда в том, что она любит Зезиньо. Разве он ей не родной брат? На этом она и остановилась, причем цеплялась за этот мотив изо всех сил, опасаясь, как бы и он не исчез. Тюрьма пойдет ему на пользу. Вдали от мира и от мерзких книжек он сумеет прогнать дурные мысли.

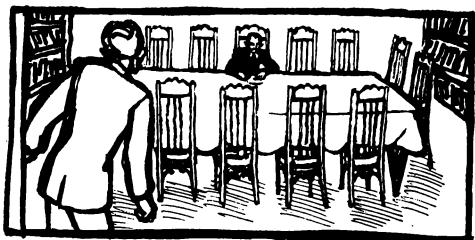
Жозе созрел для ареста. Они оставляют его на свободе, а он губит себя и других. Почему они его не берут? Может быть, его шадят из-за того, что его сестра в «Сигме»? Дона Аурора сердилась, ей хотелось крикнуть, что она не нуждается в таком снисхождении; ей было стыдно, когда разговор заходил о почтенных людях, задержанных на основании одних только подозрений.

— А почему бы и нет? — лепетала она, собрав остатки энтузиазма. — Почему надо сажать только мелюзгу?

Ею овладевал страх. Брошенный на нее косой взгляд казался ей осуждением. «Ваш брат...» Дона Жулия не договорила, но ясно было, что Жозе у нее на дурном счету. Возможно, за спиной доны Ауроры уже шепчутся о том, что она оппортунистка, что зеленую блузу надела она из хитрости, что одну свечку ставит богу, а другую — дьяволу. Никто не верит в ее искренность. Оппортунистка. Если чаша весов склонится в другую сторону и левые придут к власти, Ж. Кармо Гомес защитит ее. Именно так о ней и думают. И доня Аурора вновь потеряла покой. Ушла с головой в партийную работу, брала самые трудные задания, но это ее не успокаивало. В любом разговоре ей слышался намек. Направо и налево заявляла, что не признает родственников и ни за кого не отвечает. Говорила это смущенно, опустив глаза, как будто оправдывалась. Не раз делилась своей бедой с доной Жулией, чуть ли не просила ее сделать донос. Та слушала с видом внимательным и сдержанным, поджимала губы, опускала ресницы, а нос ее становился еще длиннее. В ее манере держаться сквозил постоянный упрек. И доня Аурора уходила, спешила то в один, то в другой конец города, где ее ждали дела.

И вот однажды утром встала бледная, разбитая, отупевшая, с густыми тенями под глазами. Медленно оделась, забывая о некоторых деталях туалета, ощущая мучительное сосанье под ложечкой и вздрагивая при каждом звуке. Надо спасти брата. Пошла в полицию и донесла на него.

ДВА ПАЛЬЦА



Доктор Силвейра прошел через приемную и приблизился к портьеру. Старый секретарь загородил дорогу, попросил визитную карточку, но, заглянув в лицо и повинуясь жесту, которым посетитель будто отмахивался от чего-то докучного, поклонился, отвел в сторону зеленый бархат и отошел в нишу окна.

— Какая-нибудь политическая шишка.

Доктор Силвейра вошел в кабинет губернатора штата. Вошел легко и радостно, словно в хорошо знакомый дом, раскинув руки для объятия. Именно для объятия! Человек, сидевший в кабинете, был когда-то его соседом, товарищем по начальной школе и лицом, они были закадычными друзьями, водой не разольешь. Жена доктора, правда, сказала:

— Бестактный это визит. Брось, не ходи. Политика!

Но он ответил:

— Что там политика! Какое мне дело до политики? Мы же выросли вместе. Вот смотри, как мы были с ним.

Он соединил указательный и средний палец правой руки так, чтобы они сохраняли горизонтальное положение, слегка пошевелил ими. Пальцы казались одинаковыми.

— Вот так.

Он вытягивал указательный палец и старался втянуть средний, чтобы они стали одипаковыми. К сожа-

лению, не стали. Один изучал право, занялся политическими комбинациями, преуспел, стал губернатором; другой, что покороче, получил врачебную практику в предместье, со скудной клиентурой и без автомобиля. Поэтому жена и сказала:

— Не люблю я куда-нибудь втираться. Бестактный визит. Всякому петуху — свой насест.

— При чем тут свой насест! — возразил доктор Силвейра. — Мы были как братья. Вместе учились, рядом жили. Пойду. Если не пойду, он, чего доброго, это припомнит. Ведь он мне почти что брат.

Доктор почистил щеткой и надел самый незаносенный костюм. Дело не в одежде, но как-никак он целую вечность не виделся с другом, братом, которого с ним было водой не разлить.

— Вот так.

Взял такси. Подъехал к дворцу, где сроду не бывал, вошел в вестибюль и заколебался. Кабинет губернатора направо или налево? Пришлось шепотом спрашивать у неприветливых чиновников.

Двадцать лет тому назад его друг и брат провалился по химии, срезался на атомах. А теперь ему тут подвластно все, и атомы ни при чем.

Дежурный полицейский указал дорогу, и доктор Силвейра, пройдя полутемный коридор, вошел в приемную, подошел к портьеру, отмахнулся от секретаря, который отступил в нишу окна.

— Какая-нибудь шишка.

И вот кончились поиски, расспросы и скучные лица чиновников — доктор Силвейра в кабинете. Распростер объятия и, еще не оглядевшись, сделал два шага. Неудачно ступив, поскользнулся на сверкающем паркете. Тотчас пришла в голову мысль, что поскользнуться здесь неприлично. Даже недопустимо. По брусчатке он шагал твердо, а вот на лакированном паркете уверенность исчезла. Стало щекотно подошвам ног, они сразу вспотели. Поскользнуться — показать свою робость и волнение.

Доктор Силвейра выпрямил спину, огляделся и только теперь увидел обстановку помещения, в которое вошел. Его внимание приковал к себе стол немислимых размеров и стулья с высоченными спинками. Возникло абсурдное впечатление, что стол больше самого кабинета. Доктору не случалось до сих пор заходить

в кабинет важного начальства, и он привык считать, что кабинет — это маленькая комната. А тут был целый зал, по одну сторону которого тянулся ряд окон, а по другую — полки с книгами. Прямо-таки публичная библиотека.

На глаза доктору попался длинный ряд толстых томов в красивом переплете, и ему стало грустно. Должно быть, это гигантский словарь, какая-нибудь энциклопедия — целое состояние. Он ошибся: это была всего-навсего подшивка газеты «Диарио офисьял». Но выглядела она роскошно, и доктор Силвейра решил, что там сокрыта бездна премудрости. Несмело шагнул: как бы снова не поскользнуться на паркете. Уверенности как не бывало. Руки, распростертые для объятия, нескладно повисли вдоль ссутулившегося тела.

Отведя взор от полок, где громоздились ряды толстых книг, доктор Силвейра посмотрел на пол, сиянье которого его слепило. Кому это нужно, чтобы полы в доме были такими блестящими и скользкими? Рискнул сделать еще несколько шагов, сознавая, что на него смотрят и осуждают. Конечно, здесь есть люди, может, даже знакомые, а он не поздоровался. Успел заметить только громадный стол, непомерно высокие стулья, окна да книги, особенно собрание томов в кожаном переплете с золотыми буквами на корешках. Разозлившись на собственную робость, приковавшую его к паркету, он поднял голову и смело пошел вперед. Мальчишка, провинциал, мешок.

Обвел взглядом кабинет. За столом, в дальнем конце, сидел маленький человек и что-то писал. Как раз в этот момент он отвел перо от бумаги, поднял припухшие глаза и брезгливо поморщился. Несомненно, рассердился, что его оторвали от работы, и без того нудной.

Доктор Силвейра пожалел, что не внял совету жены. В политике он действительно ничего не понимает. Пошел бы лучше навестить больных в своем предместье. Глупо соваться к воротилам.

На лице человека, что сидел за столом, брезгливая гримаса через секунду исчезла, перешла в покорную улыбку. Именно так улыбался некогда старый друг, но у того не было ни брезгливых гримас, ни при-

пухших глаз. Какая перемена! А ведь времени прошло немного.

И в самом деле, не так уж давно они вместе зубрили уроки в саду Силвейры-отца, растянувшись на сухой листве под манговым деревом. Тут же в саду пели и танцевали девочки. Присматривать за мальчиками приходила тетка друга, захватив очки и какой-нибудь роман. В их дела тетка не вмешивалась, но она, очки и роман стали для них вещами привычными и необходимыми. Все это было как будто вчера: пожилая тетушка сидит, уткнув нос в книгу, девочки поют и танцуют, а они вдвоем лежат на сухих листьях и готовят уроки.

Товарищ провалился по химии. Способный малый, но растерялся, не совладал с атомом. Он плакал, грозил отомстить доктору Гедесу, враждовавшему с его отцом. Несправедливость, хоть бросай учебу. Срезать не кого-нибудь, а отличного, хорошо воспитанного ученика. Подло поступил доктор Гедес. Для чего атом тому, кто собирается работать языком? Двадцать лет. За эти годы много воды утекло, а кажется, что это было вчера.

Как быстро все меняется!

У тогдашнего соученика не было мешков под глазами и брезгливых гримас. Это был общительный и веселый мальчуган. Поэтому он, Силвейра, подбодрял его тогда, утешал, приводил примеры из биографий великих людей, которым случалось провалиться на экзамене. Не стоит принимать к сердцу подлую выходку доктора Гедеса.

Двадцать лет. Теперь все переменялось. Огромный кабинет, огромный стол. Доктор Силвейра стоял у одного конца стола, а с другого его спокойно разглядывали глаза из-под припухших век. Исчезла брезгливая мина, исчезла улыбка. Теперь это были просто усталые глаза, которые его не узнавали. Неужели он настолько изменился, что его не узнать? Лысина, сутулость, бледность. Конечно, он уже не тот. Годами, правда, еще молод. Но кого украсит жизнь среди больных и мертвых? Да, он стар. Оба они старые. Лысина, сутулая спина, бледное лицо, припухшие глаза, холодные и безразличные. Если бы доктор Силвейра встретил друга на улице, прошел бы мимо, погруженный, как всегда,

в мысли о больнице, операционной, морге. Рассеянно прошел бы мимо, вспоминая о какой-нибудь перерезанной артерии. Для него в таких вещах — вся жизнь, а для человека, что сидит в нескольких метрах от него, — это пустяк, ничто. Что он там пишет? Наверное, составляет телеграмму министру внутренних дел или министру сельского хозяйства. Доктор Силвейра не сумел бы сочинить телеграмму министру. А может, это всего-навсего открытка какому-нибудь деревенскому касику? Доктору Силвейре и такую нехитрую записку не составить. Он сдвинулся с места, хотел обойти стол справа, передумал, шагнул назад, пошел было налево — и остался на месте. Проклятая нерешительность! Вспотели ладони, вспотели подошвы ног. Хорошо, что стол на ковре и нет опасности поскользнуться. Можно было бы подойти уверенным шагом, но припухшие глаза, застывшая над бумагой рука и вопросительное выражение лица вызывали у доктора Силвейры стыд и трепет. Ему захотелось уйти, бежать из унылой тиши кабинета; оглянулся — за ним устрашающие тома «Диарио офисьял» с тисненными золотом буквами на кожаном корешке. Такое роскошное издание ему не приобрести, даже если влезть по уши в долги. Что ему делать в кабинете, где такие дорогие книги? Сейчас бы повернуться, пройти до двери, откинуть портьеру, убежать от секретаря, от швейцара и выскочить на улицу. Но кто же входит в кабинет только затем, чтобы тут же выскочить обратно и бежать как сумасшедший? Трудно решиться на побег под взглядом припухших глаз, которые силятся узнать посетителя. Доктору Силвейре было до крайности неловко, и он чувствовал, что вызывает такое же ощущение у этого незнакомого человека, оторванного от работы, от этой телеграммы министру или открытки префекту. Головоломная работа для врача. Как пишут открытку префекту?

Напрасно он не дал секретарю визитную карточку. У них тут свой ритуал, свои дурацкие правила, которых он не знал и не желал знать, ибо считал, что по ту сторону портьеры находится человек, с которым его связывают неразрывные узы. Они были как два пальца, что всегда рядом и почти одинаковой длины. Жена не поверила в эту версию с двумя пальцами и посоветовала остаться дома, надеть пижаму и почитать меди-

динские журналы. Да, журналы; где уж ему обзавестись толстыми томами в кожаных переплетах с золотыми буквами...

Жалкий он человек. Жалкий. Стоит тут столбом. А как подойти: справа или слева?

Школа их допекала заданиями. По вечерам Силвейра-отец спрашивал их по географии и истории, интересовался, как они выучили уроки. Девочки пели, кружась в хороводе. Где-то они теперь? Умерли, замужем? Да, верно, совсем уж не те, не поют и не танцуют.

Друг тоже не тот, он как ампутированный палец. Доктор Силвейра хотел только подойти и сказать несколько слов. Но слова, с которыми он шел, куда-то пропали. Как подойти: справа или слева? Лучше бежать, сойти с ковра, ступить на зеркальный пол, рискуя снова поскользнуться. Опять бросило в пот. Не оторваться от этих глаз, которые не узнают.

Теперь у доктора Силвейры возникло опасение, как бы друг не принял его за просителя, домогающегося теплого местечка. Ничего подобного! Он готов вывернуть карманы и показать, что не собирается хлопотать о скидке на подоходный налог. Он всем доволен. Лечит бедняков, работает в больнице, выписывает необходимые медицинские журналы. И прекрасно. Ничего ему не надо. Он не честолубив, запросы у него умеренные. Хотел только обнять друга, поздравить его, поболтать о том о сем, вспомнить старые времена, как зубрили под манговым деревом, вспомнить девчонок, почтенную тетку. Ему не о чем просить. Не беда, что костюм не первой молодости и ботинки изрядно стоптаны. Вот еще сутулость, худоба и застенчивость. Но есть же у него практика в предместье, и больные доверяют ему; есть больница, где работы по горло; заработок, правда, неважный, но жена умеет экономить. От больницы он не откажется: там встречаются интересные случаи.

Это визит вежливости. А костюм — нищенский. Не подумал, куда идет. Ворот грязный, галстук скручен веревкой. Неряшливость. Почему он не слушался жену, когда она каждый день говорила: «Застегни пиджак». И сегодня не послушался. А жаль: вот теперь, стоя тут у стола, показывает брюшко, обтянутое рубашкой.

Человек с мешками под глазами видит в нем проходимца, из тех, что запасаются рекомендательными письмами и приходят на прием выклянчивать теплое местечко. Поэтому он сделал каменное лицо и намеревается пробормотать сухие слова сожаления и отказа, оберегая крохи сладкого пирога. А доктору Силвейре пирога не надо. Он просто хотел поболтать, вспомнить школьные годы, пожилую матрону с романом на коленях, девочек, уроки, атом, надзор Силвейры-отца. Но поговорить обо всем этом, увы, невозможно. Были они как два пальца, вот эдак, но между ними легла пропасть. Как преодолеть эту пропасть, этот громадный стол с высокими стульями, что стал между ними? Обойти справа или слева? Доктор Силвейра порывался то туда, то сюда — и стоял на месте. Человек с мешками под глазами его не узнавал. Узнал. Наверняка, узнал. Учились вместе или, во всяком случае, где-то встречались. Конечно, это приятель, из тех, которым при встрече говорят: «Привет! Как поживаешь?» Вспомнить бы, как зовут этого приятеля. Вместе учились в начальной школе, в лицее или в коллеже. И человек за столом старается вспомнить, держа перо на весу над незаконченной телеграммой. Пустой визит, потерянное время.

У таких воротил минуты на счету: столько-то на это, а вот столько на то. Им не до разговоров по душам. Важные дела, государственные. Доктор Силвейра стоял как на мертвом якоре, точно прирос к коврику возле высокого стула, на спинке которого был вырезан орел. Думалось почему-то о переплетах. Столько книг, ни дать ни взять библиотека. Толстые тома с золотыми буквами на корешках.

Бедные воспоминания! Старая тетка листает роман, девочки танцуют и поют, а они оба слушают пояснения Силвейры-старшего: он, Силвейра-младший, и этот человек, припухшие глаза которого как будто говорят: «Привет! Как поживаешь?»

Глупо ворошить бесполезное прошлое. Жена была права. Поскорей покончить со всем этим, вернуться к себе в предместье, надеть пижаму, шлепанцы и читать себе медицинские журналы. И доктор Силвейра пошел вперед. Сам не заметил, вправо или влево. Поскорей бы покончить с этим. Права была жена.

— Привет! Как поживаешь? — спросил человек с мешками под глазами.

Доктор Силвейра сел на стул с высокой спинкой и начал что-то бормотать. Зачем такие высокие спинки? Потер руки... И попросил местечка. Доходного места в здравоохранении. О прошлом не вспоминал. Нужда, бедность, тяжелые времена. В смущении беспрестанно потирал руки, показывая перстень с изумрудом. Должность в здравоохранении.

— Хорошо, — не спеша сказал человек с мешками под глазами. — Посмотрим. Зайди как-нибудь.

И склонился над письмом, давая понять, что аудиенция закончена.

АДВОКАТ НУНЕС ЛЕЙТЕ



Облокотившись о подоконник и глядя на тюремный двор, я увидел, как из двери нашего отделения вышли Себастьян Ора и адвокат Нунес Лейте. Они направились в одно из помещений левого крыла, где располагалось нечто вроде канцелярии. Себастьян был чем-то озабочен и не заметил меня, а адвокат плакал. Сначала меня удивила рассеянность первого, когда тот не ответил на мой приветственный жест, но потом моим вниманием полностью завладел второй. Нунес Лейте прошел совсем близко от моего окна, так что я мог его хорошенько разглядеть. Никогда в жизни я не видел подобных слез и не представлял себе, что человек может так плакать. Пожалуй, даже нельзя сказать, что из глаз его катились слезы: нет, били ключом, струились по щекам и ниспадали на куртку два быстрых ручья, как будто внутри у этого человека открылись какие-то краны и теперь выпускали наружу всю воду, что содержал его организм. На ярком солнце струи переливались и сверкали. Никакого стыда, никакой попытки скрыть свою слабость, хотя бы закрыв лицо руками, что обычно делается машинально. Рыданий не было, звучал лишь непрерывный хриплый вой, тон которого не повышался и не понижался; пока они шли через двор, звучала одна и та же нота, не усиливаясь, не затихая и словно бы на одном дыхании.

Такое откровенное выражение последней степени отчаяния действовало на меня удручающе. Несчаст-

ный скрылся уже за дверьми, а его горестный плач еще несколько минут продолжал ранить мой слух, и перед глазами стояла сверкающая влагой маска, покрывавшая лицо, как слой растопленного парафина. При этом я сначала поддался чувству отвращения и презрения: как можно дойти до такого откровенного малодушия! Но сразу же одумался, преодолев первую отрицательную реакцию и обвинил себя в поспешности. Ну не Лейте, должно быть, не в себе, он больной. И я видел лишь проявление болезни. Каскад слез и жалобный вой свидетельствовали о душевном расстройстве, ибо разумной причины для такого крайнего отчаяния быть не могло. Нас обрекли на бездействие, лишили возможности вести борьбу с диктатурой. И ничего более. Нельзя сказать, что с нами обращались плохо. Скорей даже совсем неплохо. Существовала, правда, угроза расстрела, но можно было при известных усилиях добиться его замены так называемым «энергичным внушением» — принятой в то время формулой нашего перевоспитания. В остальном наша жизнь текла с размеренной монотонностью и скукой. Окрики часовых, наряды, безвкусная пища в положенный час, появление и уход офицеров, звуки горна, строевые команды. Все как будто приводилось в движение часовым механизмом, и это превращало нас в безучастных автоматов, для которых неистовое выражение горя просто невысказуемо. Казарменная серость нашей жизни в какой-то мере оживлялась посещениями капитана Лобо, который вносил в нее каплю человеческого тепла. Из окна, выходящего во двор, мы не раз видели, как он сходит по каменным ступеням и направляется в соседнее отделение тюрьмы. Мы знали, что он проведет там около получаса, будет ходить из камеры в камеру и произносить разумные речи, направленные твердостью и снисходительностью.

— Я не разделяю ваших идей, но уважаю их.

Вспомнилось мне, как Себастьян Ора горячо и красноречиво излагал свои умеренные убеждения, свое credo председателя Национально-освободительного альянса в штате Алагоас. Адвокат Ну не Лейте сидел съевшись в углу и смотрел отсутствующим взглядом, глухой к суровой гуманности капитана Лобо. Он не обратил внимания на постельное белье и полотенца,

которые тот распорядился выдать нам. Несчастное существо, живущее в смертельном ужасе. Он слышал, конечно, о расстрелах и уже чувствовал, как пули входят в его трепещущее тело, в его замирающее сердце. И вот наконец, обволакиваемый страхом как саваном, он лишился рассудка, превратился в рыдающий призрак, тень человека.

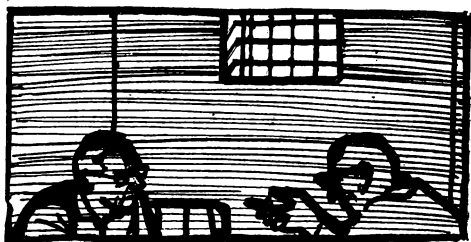
Мне стало жаль его. Ну что они мучают этого человека, боже милосердный! В прямом смысле его никто не истязал, но если заглянуть ему в глаза, сразу увидишь, что в душе его — ужас и смерть. Два-три слова на ходу, наряд на мытье полов, запах казармы, казенный колер крашенных стен, отрывистые приказания, непонятные сигналы — все это привело к катастрофе. На обычных людей такие атрибуты тюремной жизни не производят сильного впечатления, но при повышенной чувствительности нервы не выдерживают. Надо бы властям взять в толк, что они творят несправедливость: бакалавр Нунес Лейте не в состоянии выдержать заключение. Бесчеловечно подчинять одному и тому же режиму совершенно различные натуры. Вот капитан Мата, тот вовсе не страдает. Когда затихает суматоха после очередного сигнала горна, он всегда весел, упражняется в сочинительстве, упоминает не без тщеславия о нескольких месяцах, проведенных в Рио, как-то даже читал мне сонеты, и никакие заботы и печали не уменьшают его поистине зверского аппетита. За шахматной доской он разглагольствует о чем угодно, будто у себя дома, и при этом нервный тик делает его лицо странным. Когда он смеется, одна из складок на лбу залегает глубже, и у меня возникает впечатление, что он сразу и доволен, и сердит. Смех у него жесткий, энергичный. А тут же рядом — полная противоположность: морально раздавленное существо на грани безумия. Постоянный страх, непрерывный плач, бесконечный стон. Сравнивая их друг с другом, я чувствовал досаду: то, что для одного было легким наказанием, для другого оборачивалось жесточайшей карой. Власти не обращают внимания на такие пустяки, для них каждый гражданин — некая усредненная личность. Мы — зерна в жерновах мельницы, и никого не интересует, кто из нас после первого помола уцелеет, кто нет.

Преодолев отвращение, вызванное поначалу крушением духа Нунеса Лейте, я стал размышлять о его первопричине. Просто трусость? Болезнь? Была, возможно, и более глубокая причина — внезапное разрушение незыблемой веры, падение в темноту, где нельзя отыскать ни проблеска. Адвокат Нунес Лейте составил кассационную жалобу для группы политических заключенных. Принимая во внимание доводы... и тому подобное, судья наложил благосклонную резолюцию. Результат был такой: судья эмигрировал, подзащитные остались гнить в казематах, а Нунес Лейте, как замешанное в деле лицо, сам оказался в положении кассанта. Но теперь кассация — пустая трата времени: судейская мантия уже не рискнет, принимая во внимание доводы... и тому подобное, подписать постановление об освобождении. Было бы глубоким заблуждением полагать, что судебные органы могут отдавать какие бы то ни было приказы. Вся юрисдикция полетела вверх тормашками, и это выбило из колеи бесхитростную душу Нунеса Лейте, свыкшегося с прошениями, расследованиями, решениями. Правда, решения суда и раньше были непререкаемы лишь номинально: суд служил пугалом, но для власть имущих, располагавших силой оружия, его решения ничего не значили. Однако сознаваться в этом было нельзя. И актеры играли свои роли, иногда считая себя на самом деле тем, что они изображали. Повторяемость мелких процедурных деталей, видимое глубокомыслие и неспешность судебного разбирательства, избыточность формул и архаичность юридического языка придавали всему делу характер давней традиционности и незыблемости. Адвокат Нунес Лейте чувствовал себя в своей стихии, составляя прошения к властям предрежающим, к высокому суду, к досточтимому судье. Если бы все это таяло постепенно, он приспособился бы к новым порядкам и обращался бы теперь в другие высокие и досточтимые инстанции. Но такого не произошло. Нунес Лейте держался за крепкие глыбы, полагая их вечными; но эта твердь даже не растаяла, она испарилась — и он увидел себя в пустыне. Круглая печать, формула, пункты доказательства — все почтенные и обязательные вещи исчезли. У адвоката это выбило почву из-под ног. Злоупотребление властью стало неприкрытым, и бумажные стены

рухнули. Как жить на свете без эмбарго, расследования и исполнительного листа? Как можно смириться с пренебрежением к решению суда? Эта гибель высших ценностей, катаклизм. Полная безысходность. И Нунес Лейте рыдал на развалинах своей профессии.

Теперь нельзя защитить ничьи права. Собственно, права как такового уже не существует. Преступлен закон, древний и сонный, окаменевшая традиция, увековеченная на мертвом языке в книгах с твердым переплетом. На смену ему пришел гибкий устный закон, невыводимый из книг, капризный, чреватый ошибками, открытый для корысти и пристрастия. А дальше? Что будет дальше? Видимо, хаос. Если закон преступают его блюстители, чего ждать еще? Смятения и разрушения. Желая убить революцию, власти фактически работают на нее. Вот почему, пожалуй, плакал адвокат Нунес Лейте.

СЕНЬОР МОТА



На соседних нарах кто-то ухитрился соорудить полог от москитов. Наутро я увидел, что там сидит мужчина средних лет, приятной наружности, в очках с толстыми стеклами, одетый в перелицованную арестантскую робу из грубой шерсти.

— Здравствуйте,— не спеша проговорил он, улыбаясь мне.

Ему хотелось поговорить, и он тотчас представился: Мота. На меня он произвел очень приятное впечатление, мы как-то сразу сдружились.

— Вы были членом Национально-освободительного альянса¹, сеньор Мота?

— Нет, сеньор,— учтиво отозвался мой собеседник.— Я сочувствовал. Восхищаюсь Престесом².

Подумать только! За одно лишь сочувствие Национально-освободительному альянсу — вот он тут, сидит на нарах в арестантской робе, скрестив руки на груди и опустив бритую голову. Бедняга. Ему не повезло, точь-в-точь как моему старому другу Мануэлу Леалу, которого взяли в Алагоасе, держали в военной тюрьме при казармах в Ресифе, потом перевели в сырой подвал тюрьмы Манауса, а теперь он носит кирпи-

¹ См. примечание к стр. 177.

² Престес Луис Карлос (род. в 1898 году) — основатель и генеральный секретарь Коммунистической партии Бразилии. В 30-е годы — один из руководителей Национально-освободительного альянса.

чи здесь. Но Леал не обладал ни спокойствием, ни любезностью сеньора Моты. Он постоянно был мрачен, раздражителен, молчалив. На днях этот несчастный нарушил свое молчание: возвращаясь с работ, покрытый потом и красной пылью, резко и зло спросил меня:

— За что меня взяли, а? Ну, скажи.

Я удивился, меня охватила жалость к этому быстро стареющему человеку. Мне казалось, что совсем еще немного времени прошло с той поры, когда эти печальные и потухшие глаза сверкали огнем, когда лицо не было тронутو увяданием, а черные кудри повергали в трепет женские сердца. Бедный Леал. Пожалуй, старело не только его тело; дух его тоже, как видно, слабел, раз уж он обратился ко мне с таким вопросом.

— А что ты хочешь, чтоб я тебе сказал? Почему мне знать. Я даже не знаю, за что меня самого посадили.

Мой старый приятель оторопел и полминуты глядел на меня с ужасом и осуждением. Потом перевел дух и выпалил:

— Ты-то? Вот тебе на! Тебя посадили за то, что ты коммунист. Ты всегда им был.

Он выкрикнул это в полный голос, не обращая внимания на стражников и солдат.

— С детства. Всегда ты был таким. Еще ходил в коротких штанишках, а уже почитывал всякие такие вещи в лавке у своего отца. А я? Что я-то сделал, чтоб меня держать здесь, а? Ну, объясни.

Несмотря на всю жалость к нему, я едва не расхохотался, услышав такую нелепую тираду. Он кричал на меня, скорее всего не сознавая, что подобное обвинение могло оказаться для меня роковым. Я ничего ему не ответил из опасения еще более раздражить его. Бедняга не знал, насколько элементарны были те брошюры, что я читал в детстве; по его мнению, они сочились ядом, в них-то и была причина моего несчастья. Мне, мол, воздали по заслугам. Разве я всю жизнь не лез на рожон? А вот с ним обошлись несправедливо. За что? И он подозревал, что виноват в этом я.

— Ну, скажи. За что меня отправили сюда? Скажи хотя бы, что такое коммунизм. Я не знаю. Никогда с вами дела не имел, никогда ничего такого не читал. Объясни мне.

Тоска и смятение превратили некогда душевного человека в эгоиста. Мне вспоминались неудержимый

смех Леала и незатейливые анекдоты из репертуара коммивояжера, которые много лет назад он рассказывал, когда останавливался у нас в доме, в штате Алагос. Какая печальная метаморфоза! Я невольно сравнивал, и это сравнение вызывало во мне чувство досады и печали. Я не нашел нужных слов утешения, которые умерили бы тоску Леала, и молча отошел от него.

Не часто встретишь узника, который тоскует беспрестанно, так что отчуждается от всего окружающего, думая о вещах далеких, что остались по ту сторону тюремной стены. Такой нелюдим вызывает неприятное чувство. Ты сознаешь, что ничем не можешь ему помочь, отвлечь от мрачных мыслей, и опасаясь заразиться, самому угодить в трясину отчаяния. Поэтому мы предпочитаем компанию людей экспансивных, с которыми быстро налаживаешь недолговечную дружбу. Вот, например, рассказы Гаушо я с удовольствием слушал бы часами и не вспоминал бы о сне. К сожалению, звучал сигнал отбоя, и нам приходилось прерывать беседу, откладывая продолжение очередного повествования на следующий вечер.

— Вот, послушайте, сеньор. Как-то увел я новенький темно-синий костюм, просто загляденье. Сидел на мне как по заказу, и я не понес его скупщику. Надел и пошел прогуляться в город. Но, понимаете, какой тут вышел случай. На улице Лапа один тип, с меня ростом, начинает меня разглядывать и идет прямо за мной. Не успел я сообразить, как бы дать тягу, он уже подошел и спрашивает: «Простите, молодой человек. Где вы раздобыли этот костюм?» — «Вот именно, раздобыл, — отвечаю я. — Купил за сто мильрейсов в лавке старьевщика на улице Конституции, номер такой-то». — «Но, молодой человек, я готов побожиться, что это мой костюм. У меня вчера его украли». Тут я оскорбился и предложил: «Вам угодно пойти со мной прямо сейчас к этому старьевщику и поговорить с ним? Это известный коммерсант». Парень смутился: «Нет, нет, может быть, я ошибаюсь. Но я готов был поклясться, что он мой: и фасон, и цвет, и размер». И отошел. А я отправился домой. Перетрусил я изрядно, сам не знаю, как у меня хватило духу отбрить этого типа. Дома снял костюм и говорю жене: «Снеси это чертово барахло скупщику, и чтоб глаза мои его не

видели». Никогда не надо оставлять себе то, что ты украл.

Последняя фраза звучала у него назидательно: опытный вор хотел предостеречь меня от подобных промахов. Понравился мне и сеньор Мота своим спокойным видом. Он политикой не занимался и попал сюда как жертва беззакония, но тем не менее сохранял в тюрьме отличное расположение духа. «Доброе утро!» Эту фразу он произносит, сидя на нарах, и глаза его сверкают из-за откинутого полога. Тон его голоса никогда не меняется, и своим учтивым приветствием он передает нам частицу своей безмятежности.

Один-единственный раз видел я его расстроенным. Это было через неделю после нашего знакомства, когда он рассказывал мне о начале своей карьеры. Служил он тогда секретарем префектуры в местечке Корумба или Куйяба, не помню точно. Там он фактически вел все дела, так как префектом был неграмотный фазендейро, который ничего не понимал в циркулярах и сметах.

— Этот неотесанный чурбан отправился в Рио и пробыл там три месяца. В его отсутствие я руководил всем персоналом и неукоснительно взимал налоги и сборы. Когда он вернулся, в кассе было тридцать конто, в то время целое состояние. Я подвел баланс и вручил префекту ключи от сейфа. Все было точно до теста.

Мой сосед по нарам замолчал, минуту-другую сидел, задумчиво глядя перед собой, во власти своих воспоминаний. Потом вдруг спросил:

— Вы мне верите? Верите, что я действительно передал эти деньги?

— Разумеется, сеньор Мота. А как же иначе?

Бывший секретарь префектуры Корумба глубоко вздохнул:

— Передал. Какая это была глупость! Держал в руках тридцать конто и отдал такие деньги другому. Всю жизнь об этом жалею.

Тут сеньор Мота окончательно расстроился и воскликнул:

— Я был тогда очень молод. Я был просто осел!

ШИКО БРАБО



Во время болезни, когда я страдал периодической слепотой, меня больше всего раздражал голос Шико Брабо, соседа по дому слева. Моя раскладушка стояла у стены, выходившей на переулок, а по переулку к нам примыкала квартира, где жила семья Сабиа. Дом Шико Брабо шел за ними и был отделен от нас их столовой и чуланом. Но когда Шико Брабо повышал голос, молитвы доны Консейсан Сабиа затихали, смолкали все разговоры, болтовня слуг на кухне, жужжанье вентилятора, треск пламени, лизавшего поленья в плите. Как будто этот человек проникал сквозь стены и двери и становился рядом со мной. Меня поражал грубый крик, совсем не похожий на его мягкий голос с добродушными интонациями, который я слышал, когда он беседовал с кем-нибудь на улице.

Сеньор Шико Брабо был холостяк средних лет, полный, невысокий, с русой бородкой на одутловатом и желтом лице и маленькими свинными глазками. Не помню, чтобы я его видел в обществе людей состоятельных, землевладельцев или торговцев, которые вместе с викарием и судьей составляли местную аристократию и подчеркивали это свое положение, надевая зимой плащ с капюшоном и шерстяной шарф. Жил он скромно, выходил на улицу в рубашке с расстегнутым воротом, выставляя напоказ рыжеватую поросль на груди. Чем занимался, не знаю. Был он домосед, от

общественных обязанностей отделивался робкими улыбками, лстивыми и угодливыми речами.

Он увлекался лекарствами, держал на дому целую аптеку, искал больных и бесплатно их пользовал. Восхищался детьми, ласкал их при встрече, глядя по голвке короткими и толстыми пальцами.

В свое время он живо заинтересовался астмой моей сестренки Леонор. Высунувшись из окна, говорил с нашей матерью, расспрашивал о симптомах, давал советы. На другой день принес несколько пакетиков белого порошка. Мать выполнила все его предписания, и сестренка поправилась.

Женщин в доме Шико Брабо не было; всю домашнюю работу выполнял Жоан, негритенок лет десяти, веселый, озорной, душа которого ежеминутно открывалась миру двумя рядами крупных зубов. Жоан стряпал, бегал на рынок за провизией, таскал воду из колонки с улицы Интенденсия. С моего болезненного одра мне слышно было, как он работает: передвигает мебель, шаркает шваброй по каменным плиткам пола. Внезапно все звуки исчезали, покрытые хриплым и могучим ревом Шико Брабо:

— Жоан! Эй, Жоан!

Мальчик замирал, а голос продолжал греметь:

— Жоан! Эй, Жоан!

Я страстно желал, чтобы мальчуган смирился, отозвался, получил выговор и взбучку, только бы прекратился этот неутомимый рев. Я думал, если он не откликнется тотчас, хозяин рассвирепеет, и наказание будет еще более суровым. Я ошибался. Шико Брабо никогда не выходил из себя. Он продолжал кричать, пока малыш не выходил из убежища и не шел навстречу трепке. Такая неспешность обеих сторон пугала меня до холодного пота. Как может человек сохранять спокойствие в такой ситуации? Когда со мной приключалось что-нибудь подобное, я дрожал от страха, лихорадочно искал себе несуществующее оправдание либо укорял себя.

На самом деле я не знал, спокоен ли в такие минуты Шико Брабо. Может, у него была тихая, но неумолимая ярость. Предмет ее мог скрываться часами, а она не увеличивалась и не убывала. Поражало и беспокоило меня также отсутствие модуляций в голосе Шико Брабо. Слова падали тяжело, первые два слога под-

ряд, остальные — после паузы. Я не мог их слышать, закрывал уши влажными ладонями, метался в постели, в отчаянии мысленно обращался к мальчику:

«Выходи, Жоан. Иди скорей».

Для меня эта прелюдия была страшнее звуков затрещин. Короткая тишина, хриплый вздох, кашель, клочкотание, как в глотке крокодила. В моем воображении грузное тело медленно распрямляется, жир двойного подбородка отвердевает, желтые дряблые щеки багровеют. Короткие пальцы растут и превращаются в когти.

И снова хриплое, грозное и терпеливое рычание сильного зверя, от которого бросает в дрожь.

Но вот наконец Жоан решает выйти из убежища, покориться судьбе, но представление на этом не заканчивается. Перед тем как на затылок жертвы тяжким молотом обрушится волосатый кулак, зачитывается обвинительное заключение: подробнейший перечень провинностей, разделенный паузами на параграфы, каждый из которых заканчивается тем же неизменным обращением:

— Жоан! Эй, Жоан!

Господи, ну мыслимо ли так кричать на человека, который стоит рядом? Тягучий крик, пауза и опять крик. На желтом лице, наверное, выступают капельки крови. Но до развязки еще далеко: истязание методически растягивается и усугубляется. Толстые пальцы сжимают детские руки у запястья и встряхивают их в подкрепление бранным словам. Я думаю, что Шико Брабо находил удовольствие не в том, чтобы причинить мальчугану физическую боль, а в том, чтобы не спеша изводить его, ранить словами. Возможно, эти слова и не причиняли боли жертве, привыкшей к ругани. Наконец два-три глухих удара. Визг мальчика, тяжелое дыхание мужчины. Потом все затихает, и меня окружают привычные звуки.

На другой день Жоан насвистывает, поет, двигает стулья, подметает пол. Его рыхлый хозяин расматывает свой жир на подоконнике, как откормленный боров на крыльце, почтительно хрипит, приветствуя прохожих, старательно и услужливо учит соседок лечить недуги домашними средствами.

Болея долго, и все время меня преследовали два образа: обходительный человек на улице и свирепый

зверь у себя дома. Несоответствие между ними росло, накапливалось, и трудно было поверить, что один и тот же человек может быть таким благожелательным и таким жестоким. Ласковые слова, улыбки и белые порошки казались мне атрибутами идеальной доброты; яростное рычание и затрепанные свидетельства о несомненной злобности. Где же Шико Брабо? Кто из двух настоящий? Такое раздвоение повергало меня в ужас. Разумеется, в детях божьих много несовершенства и скверны. Немногим удается, как доне Марии, держаться неизменно спокойно, даже когда болит живот или голова. Но дона Мария, старая полуграмотная учительница, почти святая. У остальных людей наряду с добродетелями есть колебания, заблуждения, пороки. Шико Брабо представлялся мне в виде двух несовместимых друг с другом людей. Безуспешными были все мои попытки связать их воедино. Чем больше я вспоминал, тем сильнее казался мне антагонизм между ними. Лежа с закрытыми глазами, я отчетливо видел одного человека. Воспринимая звуки слухом, обостренным слепотой, я представлял себе другого.

Когда зрение возвращалось ко мне, эти два человека шли на взаимные уступки, заключали перемирие. Меня захлестывала волна зрительных образов. Передо мной мелькали дети Теотопиньо Сабиа. Приходил Жозе да Лус и рассказывал мне разные истории. Вот открылась калитка на другой стороне улицы, и на меня глянул извечный праздник цветущего сада. В субботу на площади вырастали палатки; по базару бродили скотоводы в кожаных куртках с нагрудником, твердо ступая по мостовой и позвякивая колесиками шпор. По воскресеньям, во время утренней мессы, алтари окутывались дымом ладана, мелькал цветастый ситец, проплывала фата невесты; звон колоколов заглушал гомон толпы и пронзительные крики младенцев, окунаемых в купель. Город суетился. И в этой суете Шико Брабо таял, его черты смешивались с чертами других людей. Мои глаза блуждали, жмурясь, по небу вслед за ласточками или с трудом ползли по книжной строке.

Потом они снова переставали служить мне, слезились, гноились и задерживались темной пеленой. И Шико Брабо опять раздваивался. Добрая половина выходила на улицу, вела разговоры с соседками, ока-

ывала им услуги, помогала больным детям. Злая половина восседала в столовой и измывалась над Жоаном.

Если бы у Шико Брабо были слуги, батраки, жена, дети, кухарка, то он, наверное, распределял и делил бы свою злобу на всех поровну, и тогда доля каждого была бы незаметной. Но у него в услужении был только один мальчуган. На него он и изливал весь накопленный яд, а очистившись, возвращался к окну гостиной, расточал ласки детям, наделял лекарствами их матерей.

СЕРЕБРЯНОЕ СТРЕМЯ



— Случилось это в тот день, — начал Алешандре¹, — когда я ездил к тестю, а фазенда его была в трех легуах от моей. Я как-то уже говорил вам, что сбруя на моей лошади была серебряная.

— Золотая! — крикнула с кухни Сезария.

— Сейчас я рассказываю про серебряную, — пояснил Алешандре. — Была и золотая, это верно, но та надевалась только по праздникам. А в будни я садился в седло, отделанное серебром. Шпоры, кольца недоуздка и пряжки стремянных ремней тоже были серебряные. Ну а стремяна, когда их почистят песком, сверкали что твое зеркало. Так вот, друзья мои, поехал я навестить тестя, а ездил я к нему раз или два в месяц. Мы с ним пообедали, потолковали о политике да о делах. Как раз в тот день мы порешили насчет моей поездки на юг, где потом я заработал себе репутацию и немалые деньги. Да про нее я вам, кажется, уже рассказывал. Я еще купил тогда попугая...

— За пятьсот с лишним мильрейсов, — подхватил местре² Гауденсио. — Вы уже говорили. Тот попугай потом умер с голоду.

¹ В сборнике «Рассказы Алешандре» рассказчик, сам Алешандре, — бывалый человек, скотовод, небогатый, но, по его словам, знававший лучшие времена; слушатели: Гауденсио — деревенский знахарь, Либорио — певец и гитарист, Фирмино — слепой негр, Сезария — жена Алешандре, дас-Дорес — его крестница.

² Местре — обращение к ремесленникам и другим специалистам средней квалификации.

— Так оно и было, сеньор Гауденсио, — подтвердил рассказчик. — У вас хорошая память. Ну вот, после обеда мы с тестем сели на лошадей, проехали по полям и загонам. Я отобрал и купил сотню годовалых бычков, попрощался со стариком и отправился домой. Начинало смеркаться, но еще не стемнело. Солнце заходило, и уже показалась полная луна, громадная и красная, слишком уж красная, — а это, как вы знаете, не к добру. И пес какой-то у дороги задрал морду да завыл, будто к покойнику.

— А ну уймись, чертово семя!

Дал я ему пинка, припори́л лошадь и поскакал. Но отъехал немного — опять слышу, воеет пес, да еще тоскливей, ну прямо душу рвет. Человек я не робкий, но тут и у меня сердце дрогнуло, а по спине мурашки забегали. В поле как будто все вымерло. Только луна все разгоралась да росла, слизнула все тучки и захватила чуть ли не полнеба. А на земле — жуткая тишина, и в этой тишине — заунывный собачий вой. Я перекрестился, тихонько сотворил молитву и сказал себе: «Где-то сегодня быть беде, не иначе, спаси нас, пресвятая дева!» Поехал дальше. Понемногу зловещий вой затих вдали. Я уже видел в ярком лунном свете знакомые смоковницы и кактусы возле моего дома, как вдруг что-то ударило меня в правую ногу. Я натянул поводья, остановился и услышал позади словно бы звон бубенчиков. Обернулся — и вижу разъяренную гремучую змею, огромную, в два метра длиной.

— Два метра, сеньор Алешандре? — изумился слепой негр Фирмино. — Не много ли?

— Вот что, сеньор Фирмино, — сердито воскликнул Алешандре. — Кто видел змею, вы или я?

— Вы, конечно, — признал негр.

— Тогда скажите мне, как это вы, незрячий, можете знать больше, чем те, кто видит? Так дело не пойдет, сеньор Фирмино. Лучше уж помолчите, черт побери, а если найдете в моем рассказе какой изъян, то дождитесь конца и потом уж доказывайте, что я пустомеля.

— Простите меня, — пробурчал Фирмино. — Дело в том, что мне всегда хочется узнать всякие подробности.

— И узна́ете, сеньор Фирмино, — назидательно провозгласил Алешандре. — Кто говорит, что не узна́ете? Все узнаете. Только не прерывайте меня, ради бога. Так вот. Змея яростно извивалась, звякала погре-

мушками и готовилась снова броситься на меня. Первый раз, как я сказал, онахватила меня за правую ногу. Я подумал тогда, что меня спасли мои крепкие сапоги. Соскочил на землю и замахнулся хлыстом: ни палки, ни камня под рукой не было. Эта мерзкая тварь свилась в кольцо, уставилась на меня круглыми глазами, высунула жало и — раз! Я подсек ее ударом хлыста. Она сейчас же снова поднялась, но я не дремал, хлыст свистал в воздухе — раз-раз-раз — и в конце концов она поджала хвост и поползла в кучу срубленных веток у обочины дороги.

— Как же это она поджала хвост, сеньор Алешандре? — спросил слепой. — Ведь хвост поджать может тот, у кого есть задние лапы. А у змеи-то их нет.

— Ясно, нет, — согласился Алешандре. — Когда говорят, что кто-то поджал хвост, это значит: оробел, уступил, сдался. Вот что я хотел сказать. И хвост поджимают не только те, у кого есть задние лапы. А кто этого не понимает, сеньор Фирмино, у того ум коротковат. Так вот, гремучая змея, у которой не было задних лап, поджала хвост и поползла под кучу сухих веток и листьев. Я забежал вперед и заставил ее вернуться на дорогу. Всыпал ей еще столько, что бедняжка только вздрагивала и совсем уже не бросалась. Тогда я раздавил ей голову каблуком. Она дернулась, свилась в одну и в другую сторону, потом затихла и растянулась в пыли. Я наклонился, смерил ее: девять с половиной пядей¹. Слыхали, сеньор Фирмино? Девять с половиной! А это больше двух метров. Что скажете?

— Должно быть, так, — проворчал негр. — Почему я знаю? Я слушаю. Как спрошу что, так я и виноват. Вам лучше знать.

— То-то же, — заключил Алешандре. — Значит, змея была больше двух метров длиной. Я снял у нее с хвоста погремушку и насчитал на ней семнадцать колец, а это значит, как всякому известно, что ей было семнадцать лет. Семнадцать! Змея была старая и опытная. Если б не крепкие сапоги, мне была бы крышка, и вы бы не услышали эту историю. Сезария, сделай-ка нам бутылочку кашимбо². У меня в горле пересохло, да и нашим друзьям слушать под сухую тяжело. Поди

¹ Пядь — мера длины, 9 дюймов (около 22 см).

² Кашимбо — напиток из водки с медом.

принеси, да заодно поищи погремушку с хвоста той змеи, она ведь где-то там у тебя.

Сезария поднялась с циновки и пошла на кухню. Алешандре рукавом рубашки отер пот с лица. Местре Гауденсио, знахарь, Либорио, гитарист, и дас-Дорес, крестница Алешандре, вполголоса обсуждали длину и возраст змеи. Через несколько минут Сезария возвратилась с бутылкой и чаркой:

— Вот вам кашимбо. Водка в доме, слава богу, не перевелась и пчелы работают бесплатно. А погремушка куда-то запропастилась. Лежала на чердаке над сараем вместе с корзинами и вениками — видно, провалилась между жердей да мыши в нору затащили.

— Жаль,— проворчал Алешандре.— Я хотел дать ее пощупать сеньору Фирмино. Экая досада. Да ладно. Обнеси-ка гостей, жена.

Бутылка опустела, друзья похвалили напиток. Алешандре откашлялся и продолжил рассказ:

— Сел я в седло, и тут кончилась вся жуть, которую нагнал на меня отчаянный вой щенка. Свет луны стал не таким красным, и ночь стала как ночь, ничем не хуже любой другой лунной ночи. «Так все эти дурные приметы были для меня!» — сказал я себе. Беда миновала, ибо сильна была моя молитва и крепка была кожа сапога. До дому доехал спокойно.

— С погремушкой змеи в кармане,— пробормотал слепой.

— Понятно, с погремушкой. Сезария ахнула: семнадцать лет для гремучей змеи — это много. Лег я спать и наутро забыл об этом случае. Занялся приготовлениями к поездке на юг, а дел было немало. С утра до вечера отбирал для продажи быков, нанимал погонщиков и пастухов, следил за упаковкой провизии. Через месяц, ровно через месяц, все было готово: быки отобраны, погонщики готовы в путь. Я велел седлать мою лошадь, чтобы съездить попрощаться с отцом, тестем и друзьями по соседству. Надел шерстяной костюм, манишку и галстук, натянул сапоги. Потом выпил чашечку кофе и выхожу под навес к лошадям. Смотрю, а мой конь все еще не оседлан. Я рассердился и позвал работника, которому велел это сделать. Тот выходит из сарая сам не свой, дрожит от страха и говорит: «Не могу я поднять седло, крюк под ним обломился, и оно будторосло в землю, с места не

сдвинуть. Полчаса с ним возжусь». Я не поверил такой ерунде и пошел сам взглянуть, в чем дело. Смотрю — верно, крюк обломан, седло на земле. Поднимаю — не поддается: левое крыло приподымается, а правое — будто держит кто. Присел я на корточки, чтоб разглядеть его поближе, и сам испугался, словно черта увидел: правое стремя стало огромным, что твоя кувалда. Но я все же сдвинул седло с места, отцепил стремя, кликнул еще двоих работников, и мы выволокли стремя под навес. Это было настоящее чудо, все таращили глаза, удивлялись, почему это стремя так выросло. Пришли соседи взглянуть на него, во дворе собралась целая толпа, все спрашивали, как, да где, да отчего, и никто ничего не понимал. Я тоже только в затылке чесал да раздумывал. Три дня ломал голову, но потом все понял и объяснил Сезарии, в чем было дело, а сейчас и вам растолкую. Вы сами поймете, что иначе быть не могло. В ту ночь, когда было полнолуние, я думал, что змея укусила меня за сапог. Но после случая с седлом сообразил, что она вцепилась зубами в стремя и на него вылила весь свой яд. А через месяц, когда луна снова набрала силу, стремя распухло, как распухает любое место, куда пришелся змеиный укус. Вот почему оно стало таким большим и тяжелым. Я послал за кузнецом, тот принес зубило и молоток, и мы сняли со стремени пять арроб¹ серебра, пока оно снова не стало нормального размера. Так было не год и не два: каждый месяц, в полнолуние, стремя пухло да пухло, и я снимал три, четыре, а то и пять арроб серебра, смотря по тому, какую силу набирала луна.

Гитарист Либорио, местре Гауденсио, слепой Фирмино и крестница дас-Дорес поднялись со своих мест, преисполненные восхищенного изумления.

— Так вы на этом заработали кучу денег, сеньор Алешандре! — воскликнул гитарист.

— Не без того, сеньор Либорио. Слава создателю, деньги у меня всегда водились.

— А это стремя, сеньор Алешандре, оно у вас и сейчас? — спросил слепой.

— Нет, друг мой Фирмино, — ответил хозяин дома. — С годами оно перестало распухать. Я так думаю, что змеиный яд потерял силу, он же выдыхается, верно?

¹ Арроба — мера веса, 15 кг.

СЛУЧАЙ С САПОГОМ



Хозяин дома сидел на точильном камне и прилаживал новый ремешок к альпаргате¹. Завидев гостей, он поднялся, пересел в гамак и стал бормотать ворчливым тоном, обращаясь то к истрепанному альпаргату, то к гостям:

— Вот ведь незадача. Славен господь наш Иисус Христос, сеньор Гауденсио. Гм! Я тут за работой и не слышал, как вы поздоровались. Надо ж так разодрать! Во веки веков славен, сеньор Либорио. Какой бы тут взять подъем? Добрый вечер, сеньор Фирмино. Присаживайтесь.

Гости сели, из кухни вышли дас-Дорес и Сезария и устроились на циновке.

— Ну что теперь за жизнь, друзья мои,— ворчал Алешандре.— Шел я с ярмарки, споткнулся, сбил большой палец в кровь и вот ремешок порвал на альпаргате, а потом топал добрых полторы легуы одной ногой обутой, другой — босой. Я сейчас тут вспоминал добрые времена, когда я был богат. Полный сундук денег, наряжайся во что хочешь, а обуви — какой только не было.

— И были сапоги с серебряными шпорами,— добавила Сезария.

— Верно,— подтвердил Алешандре.— И с серебряными, и с золотыми, рядышком висели, на одном гвоз-

¹ Альпаргаты — вид сандалий.

де. А теперь что? Подметка к голенищу приляпана кое-как, каблук в трещинах, а вместо шпор — колючки. Теперь я ничто, сеньор Либорио, вот что я теперь.

Алешандре поник головой, с минуту шевелил губами, бормоча что-то про себя. Немного погодя лицо его просветлело, он улыбнулся и сверкнул бельмом.

— Если уж говорить о сапогах, так вспомнил я, в какой переплет попал много лет тому назад, когда колесил по белу свету. Хватил я тогда страху, да и теперь, как вспомню, дрожь берет. Хотите, чтоб я вам рассказал, — слушайте. А не хотите — как хотите: я помолчу, а сеньор Либорио возьмет гитару да споет нам одну-другую эмболаду¹.

— Ну что вы, сеньор Алешандре, — скромно запротестовал певец. — Рассказывайте вы.

Остальные хором подтвердили свой интерес к рассказу. Алешандре откашлялся, прочищая горло, и начал:

— Так вот. Случилось это во время одной из первых моих поездок на юг. Пожалуй, даже в первую. Сейчас я точно вспомню.

Полминуты рассказчик молча жестикулировал, устремив бельмо на потолок.

— Так и есть, — сообщил он. — Это было в первую поездку. В тот раз я еще купил для Сезарии ученого попугая, такого смышленного, просто чудо.

— Вы про него уже рассказывали, — вмешался слепой Фирмино. — Что он был умный как христианин и стоил целое конто.

— Вы путаете, сеньор Фирмино, — сердито возразил Алешандре. — Мыслимое ли дело, чтоб попугай стоил конто? Тот, про которого я говорил, обошелся мне в шестьсот двадцать пять тысяч триста рейсов, и то переплатил. Терпеть не могу преувеличивать и помню все, что раньше говорил, слово в слово. Коли я заплатил шестьсот двадцать пять тысяч триста, зачем бы мне прибавлять?² Скажите-ка, сеньор Фирмино.

¹ Эмболада — стихотворно-музыкальное произведение бразильской народной поэзии.

² В одном из предыдущих рассказов Алешандре («Серебряное стремя») стоимость попугая определяется в пятьсот миль-рейсов с небольшим,

— Да я ничего не знаю,— пробормотал слепой.— Вам-то лучше знать.

— Вот это верно, — произнес хозяин дома. — Но мы тут толчем воду в ступе. Что теперь поминать эту малую божью тварь, ее давным-давно склевали урубу. Послушайте лучше про то, что я вам обещал. Как я уже сказал, приехал я в округу Канкаланко.

— А вы этого еще не говорили,— буркнул слепой.

— Не говорил? Так вот теперь говорю, сеньор Фирмино,—ответствовал Алешандре.—Случай этот произошел в Канкаланко, на берегу речки, а ночь была — хоть глаз выколи. Правильнее сказать, ночь уже прошла, и наступило утро. Я продавал быков, изъездил сертан вдоль и поперек. За шесть месяцев набил бумажными деньгами переметную сумму так, что еле завяжешь. И в тот день, проезжая через Канкаланко, решил повернуть домой, потому что надоело уже день за днем мотаться в седле, от подсчетов-расчетов распухла голова, да и по хозяйке очень соскучился. Стали мы на ночлег на берегу, развели костер, погонщики приготовили ужин и, сидя у огня, стали хвастать друг перед другом тем, что было и чего не было. В городе я заезжал ночевать в самую дорогую гостиницу и спал на мягкой перине, а тут, в сельве, решил спать на земле. Так и сделал. Пожевал муки, съел кусок вяленого мяса, плитку рападуры¹, помолился господу, снял сапоги и растянулся на песке в одежде, с винтовкой под рукой, а в изголовье вместо подушки положил суму с деньгами. Стреноженные кони щипали траву. Больше часа слушал я небылицы, что рассказывали мои парни у костра. Потом они замолчали, улеглись, кто под кустом, кто под деревом, и заснули. Собирался дождь, и стояла такая дьявольская духота, что всех разморило, даже листья на кустах не шевелились. Луна возшла было, но тут же исчезла, словно испугалась. Из-за гор выползла туча, за ней другая, третья, они всё росли и вот уже затянули все небо, и стало не видно ни звездочки. Темно, как во чреве у сатаны. Поначалу, пока тлел костер, я еще мог видеть спящих под деревьями погонщиков, кожаные мешки и сумки с провизией, мое седло и сапоги. Но костер угас, угли покрылись пеплом, и исчезло с глаз моих все: и погонщики, и

¹ Рападура — неочищенный тростниковый сахар.

мешки, и сумки с запасами, и седло, и сапоги. Я тут откапываю в памяти все эти подробности, а вы мо́лите бога, чтоб я поскорей закончил. Вон сеньор Фирмино клюет носом, бедняга, и уже три раза зевнул.

— Я? Какая ерунда! — запротестовал слепой, выпрямляясь на чурбаке, что служил ему сиденьем. — Чтоб я уснул, когда вы рассказываете какую-нибудь историю! Я все прекрасно слышал. Продолжайте, сеньор Алешандре. Ночь была темная и дождливая...

— Нет, сеньор Фирмино, — поправил Алешандре, — дождя не было. Я же говорю, что вы спите. Надвигалась гроза, было душно и чертовски темно. Вот как было. Совсем темно. Я это повторяю, чтоб вы потом не удивлялись, как со мной такое произошло. Так вот, еще час-другой я лежал и подсчитывал доходы, потому что держал тогда мысль построить у себя на фазенде дом вроде тех, что я видал в столице, большой, со всякими там фигурами и завитушками. Хотелось мне, чтобы Сезария попробовала, что такое кровать с пружинным матрацем, да погляделась бы в зеркала чуть ли не во всю стену. Вы, друзья мои, наверно, ничего подобного не видали, но есть на свете и такие вещи. К полуночи я завернулся в одеяло, заснул, и стал мне сниться дом с зеркалами. Проснулся перед рассветом. Сел, перекрестился, крикнул людям, чтобы вставали да сходили за лошадьми. Вы помните, что спал я в одежде и с прочей амуницией, как это и положено, когда ночуешь в диком месте. Потянулся я в полудреме, страхнул с себя сон. Потом протянул руку и пошарил, где мои сапоги. Нащупал один, левый, и натянул его на ногу без всяких происшествий. Но когда стал натягивать правый, тут-то и началась чертовщина. Я сую ногу в голенище, а она идет, идет и никак не достанет до подметки. У нормального сапога голенище доходит до колена, верно? А тут оно дошло до колена, прошло по бедру, уперлось в живот, и если б нога была подлинней, можно было бы натягивать и дальше. Я подумал, что кто-то срезал мне подметку, пока я спал. Кто это мог позволить себе такую глупую шутку? От злости я заорал. Погонщики мои как раз возвращались с лошадьми в поводу. Кто-то нес факел. Они подбежали ко мне и остолбенели: поглядывают друг на друга, разинув рот, а сами белые стали, что твои мертвецы. А знаете, что случилось? Жутко вспомнить. У нашего

костра ночевал, свернувшись, питон. Вы поняли? Один сапог я надел как полагается, а вместо второго ухватил за челюсти удава и сунул ему ногу в пасть. Вы только подумайте, каково мне было, когда я это увидел! Я оторопел, а люди мои были так ошарашены, что ничем мне помочь не могли. Вот как было дело. Но я первым пришел в себя. Когда приходится туго, я всегда спокоен. И очень осторожно, чтоб не ободрать ногу о зубы змеи, я стянул с ноги этот ужасный сапог. На мое счастье, удав не стал кусаться. Тоже, наверно, испугался. А если б нет, так что бы тут было? Но он спраздновал труса и был рад-радешенек, что освобождился от этой штуки, которая сама лезла ему в брюхо. Избавившись от нее, он помотал головой и медленно пополз в кусты.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Тертерян. Предисловие</i>	3
САН-БЕРНАРДО. Роман. Перевод Л. Бреверн и И. Чежеговой	17
РАССКАЗЫ	
<i>СВИДЕТЕЛЬ. Перевод Л. Бреверн</i>	159
<i>АРЕСТ ЖОЗЕ КАРМО ГОМЕСА. Перевод В. Федорова</i>	168
<i>ДВА ПАЛЬЦА. Перевод В. Федорова</i>	184
<i>АДВОКАТ НУНЕС ЛЕЙТЕ. Перевод В. Федорова</i>	192
<i>СЕНЬОР МОТА. Перевод В. Федорова</i>	197
<i>ШИКО БРАБО. Перевод В. Федорова</i>	201
<i>СЕРЕБРЯНОЕ СТРЕМЯ Перевод В. Федорова</i>	206
<i>СЛУЧАЙ С САПОГОМ. Перевод В. Федорова</i>	211

Грасиано Рамос

САН-БЕРНАРДО

*

РАССКАЗЫ

Редактор Н. Сметкова

Художественный редактор А. Гасников

Технический редактор Н. Литвина

Корректор Л. Никульшина

ИБ № 633

Сдано в набор 28/I 1977 г. Подписано к печати 11/VIII 1977 г. Бум. тип. № 1. Формат 84×108¹/₃₂—6,75 печ. л. 11,34 усл. печ. л. 11,196 уч.-изд. л. Заказ № 470. Тираж 50 000 экз. Цена 1 р. 20 коп. Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр. 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29

